

Роксана Геден

16+



Фея Семи Лесов

Роксана Гедеон  
**Фея Семи Лесов**

«ЛитРес: Самиздат»

1991

## **Роксана Гедеон**

Фея Семи Лесов / Роксана Гедеон — «ЛитРес: Самиздат», 1991

ISBN 978-5-532-04908-6

Франция, XVIII век... Юная Сюзанна, дочь принца и флорентийки, представлена ко двору Людовика XVI. Могущественный отец мечтает о блестящей партии для своей очаровательной дочери. Королева Франции назначает ее своей фрейлиной. На красивую девушку обращает внимание граф д'Артуа – брат короля, известный покоритель женских сердец. К ногам Сюзанны он бросает всю роскошь Версаля – вихрь балов, театральных представлений, пышных разъездов и великолепных охот. Однако в сердце героини – синеглазый виконт из бретонской глуши. А за окнами Версаля – дыхание надвигающейся революционной катастрофы.

ISBN 978-5-532-04908-6

© Роксана Гедеон, 1991  
© ЛитРес: Самиздат, 1991

# Содержание

Пролог	5
Глава первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	50

## Пролог

Филиппу Антуану де Ла Тремуиль де Тальмону было тридцать лет, когда он под Рождество 1768 года прибыл во Флоренцию. Выпал легкий мокрый снег. Окна во флорентийских дворцах казались заплаканными, и оттого фантастическими выглядели в них огни праздничной иллюминации.

Молодой человек, пока еще с Флоренцией не знакомый, принадлежал к цвету французской аристократии, к тем немногочисленным избранным, которые могут даже на своих собратьев по благородному происхождению смотреть свысока и всерьез считают, что король – всего лишь первый среди равных, несмотря на то, что после эпохи Людовика XIV эта феодальная формула была основательно забыта. Положение в обществе, титулы, многочисленные замки в Нормандии и Бретани, текстильные мануфактуры в Лионе, фарфоровые заводы в Севре, леса и уголья, дававшие неисчислимые прибыли, не сделали молодого человека счастливым. Он обладал, казалось бы, всем и не имел того, за что отдал бы все свои богатства.

Его отца, старого принца Жоффруа де Тальмона, чрезвычайно тревожило настроение сына. Поэтому-то и было задумано это путешествие по солнечной Италии, целью которого было вернуть молодому человеку вкус к жизни и отвлечь от мыслей о прошлом.

А прошлое было богато событиями, достойными любого романа, – трагическая любовь, разлука, попытка самоубийства, вольнодумство и... два года, проведенных в Бастилии.

Филипп не всегда был таким утонченным, разочарованным и рафинированным. Отданный в 1748 году в военную академию на Марсовом поле в Париже, он вышел оттуда спустя шесть лет и ничем не отличался от подобных ему молодых военных. Получив уже при выпуске чин лейтенанта королевской лейб-гвардии, он не особенно утруждал себя военной службой. Повышение происходило само собой. В восемнадцать лет Филипп был уже капитаном, в двадцать два года – полковником. Служба его не занимала. Находились иные, более интересные способы времяпрепровождения...

Шестилетний плен в академии закончился тем, что юный лейтенант бросился в кутежи и разврат. День был отдан Версалю, куда его незамедлительно ввел отец, галантным разговорам, нежным флиртом с девицами и любви с дамами постарше и поопытнее. Ночь отдавалась кабакам, актрисам, сомнительным друзьям и вину. Потом наступал рассвет и утро, когда можно было отоспаться. В полдень молодой капитан вновь появлялся в Версале... Круг замыкался. В этом кругу не было места настоящим увлечениям или любви. Мало-помалу в великосветских салонах стали говорить, что сердце этого эlegantного белокурого военного – настоящий камень. Ни одна из самых изящных аристократок не смогла увлечь его достаточно сильно. Молва приписывала ему в любовницы фавориток пожилого Людовика XV – мадам де Куаслен, мадам де Бонваль и даже великолепную маркизу де Помпадур, но все это было мимолетно и не затрагивало глубоко жизни молодого офицера. Всегда насмешливый, всегда любезный и галантный – таким его считали в Версале. Ночные попойки в счет не шли, ибо редко можно было встретить молодого аристократа, не причастного к ним.

Уже будучи полковником лейб-гвардии, Филипп стал виновником скандала, разразившегося в Париже и вызвавшего ярость короля. Однажды ночью этот аристократ вместе с друзьями, разгоряченными крепкими напитками, заинтересовался конной статуей славного короля Генриха IV. Пришла мысль подковать его лошадь... В предместье Сент-Антуан был разыскан и кузнец. В конце концов подвыпившая компания, несмотря на свои титулы и должности, была арестована специальным отрядом начальника полиции Беррье.

Наутро об этом узнал Людовик XV. Ему, чрезвычайно щепетильному во всем, что касалось его рода, очень не понравилось подобное обращение с изваянием его знаменитого предка. Участники дебоша были брошены в Бастилию. Только через месяц – и то по настоятельной

просьбе мадам де Помпадур – Филипп был выпущен на свободу. Обозленный, он перестал бывать в свете. Старый принц был даже доволен этим. Воспользовавшись затишьем, он принялся подыскивать сыну невесту...

А Филипп... Он нашел ее сам. Но не в великосветских гостиных, не в семействах знаменитых герцогов или графов, на худой конец, даже не в семье какого-нибудь банкира-буржуа, породниться с которым было унижительно, но возможно. Прелестную Лоретту он обнаружил в швейной мастерской своего отца, куда зашел совершенно случайно.

Его возлюбленная, ради которой были забыты и Версаль, и друзья, оказалась, увы, простой белошвейкой. Ее имя не украшалось столь милой сердцу дворянина частицей «де». Она была просто Лоретта Роше и не имела никакого приданого, если не считать жалкого жалованья, которое получала из кармана старшего де Тальмона.

Могла ли судьба посмеяться над Филиппом сильнее?

Увлечение сына старик де Тальмон воспринял положительно. Можно сказать, он огорчился, узнав, что девушка отказывается быть содержанкой Филиппа. Старик не любил осложнений, пусть даже самых незначительных, и никогда не позволял маленьким проблемам разрастись в большие. Но на этот раз дело казалось пустячным. Чем могла привлечь Филиппа эта юная простушка после образованных и утонченных светских жеманниц? А если и могла, то разве надолго?

В конце концов принц допускал и продолжительное увлечение, пусть даже очень длительное. Главное, чтобы Лоретта Роше не мешала тому, что стоит гораздо выше ее счастья и любви.

Осознать то, что его сын потерял голову, старый принц смог лишь тогда, когда Филипп наотрез отказался от подобранной ему невесты. Отказался не только от женитьбы, но и от помолвки. Эта кокетка из швейной мастерской явно намеревалась погубить его. Филипп заявил, что женится только на ней: не было ли это свидетельством его сумасшествия?

Принудить взрослого и вполне самостоятельного полковника к браку старый принц был не в силах. Зато на следующий же день после неудавшейся помолвки на стол премьер-министра герцога де Шуазеля легло письмо. В нем полковнику предлагалось покинуть Париж в двадцать четыре часа, а Францию в течение четырех суток. Его отсылали в Вест-Индию.

Осталась безутешной Лоретта, сразу же уволенная из мастерской. Сожалели о Филиппе и версальские дамы. Сожалела даже отвергнутая невеста, Сесилия де Ла Тур. Скучали без Филиппа его друзья-офицеры. Немилость отца неожиданно обрушилась на голову полковника. Вест-Индия всегда была местом ссылки. Старый принц тоже сожалел о случившемся, но был твердо уверен, что Филипп, вернувшись, позабудет о своих былых бреднях. Он был его единственным сыном. Потерять его, отдав в руки буржуазки, было для отца трагедией.

Но Филипп ничего не забыл. Вернувшись в 1766 году в Париж, он разыскал Лоретту Роше. Все пошло по-прежнему. Словно и не было тех трех лет, проведенных в Вест-Индии.

Серьезный оборот дела не на шутку испугал старого принца. Безумие Филиппа возрастало с каждым днем, с каждым вечером, проведенным с Лореттой. Его упрямство изумляло даже много повидавшего старого принца. Филипп любил! Он хотел, чтобы ему не мешали. Мир стал ему безразличен. Даже на то, что его уже давно не повышают по службе, он не обращал внимания.

Старый принц снизошел до проникновенного разговора с самой Лореттой Роше. После этого она исчезла.

Уехала, не сказав ни слова ни знакомым, ни соседям. Куда, зачем, в каком направлении, вернется ли – этого Филипп не узнал, хотя и нашел в опустевшей квартире маленькое письмо Лоретты. Она писала, что уходит из его жизни, потому что поняла, что губит ее.

Можно ли было предугадать более банальный конец? Сколько раз Филипп смеялся над подобными сентиментальными историями, рассказанными ему в салонах. Нет, с ним такого не

может случиться; он молод, удачлив, хорош собой, он всегда будет счастлив! Какая женщина может бросить его? Теперь уверенность в собственной неотразимости была разбита вдребезги.

Из квартиры Лоретты он пошел прямо к отцу. Слуги слышали голоса отца и сына. Затем раздался выстрел. Старый принц громко звал на помощь: Филипп застрелился!

Рана оказалась не смертельной. Хуже было то, что, едва выздоровев, Филипп бросился в другую крайность. Заядлый противник всех вольнодумных философов, он сам примкнул к небольшому кружку людей, изучающих взгляды Монтескье, Вольтера, Гельвеция, Мабли, Гольбаха, а главное – Руссо. Полиция заподозрила, что кружок обсуждает не столько философские трактаты, сколько целесообразность королевской власти и расточительство королевских фавориток. Согласно пресловутому «*lettre-de-cachet*», Филиппа заключили в Бастилию.

За два года в Бастилии Филипп понял, что ему надоело все на свете: и Версаль, и смешные дерзкие философы... Быть может, следует жить для себя и своего блага, как говорит отец? Но чтобы жить для себя, нужно хотеть жить вообще, чувствовать тягу хоть к чему-нибудь... А в свои двадцать восемь лет Филипп был внутренне опустошен. Он не нашел своего места в жизни и растратил все силы в поисках. Жизненная сила исчезла, и он чувствовал себя восьмидесятилетним стариком.

Оказавшись летом 1768 года на свободе, он даже не был рад этому. Предложение поехать по Европе он воспринял равнодушно. Ему было все равно, куда ехать: в Германию и Россию, как советовала старая тетка, или в Италию, как предлагал отец.

Когда он приехал во Флоренцию, город был расцвечен огнями традиционных рождественских карнавалов. И в тот самый миг, когда Филипп вышел из своего дорожного экипажа, к палаццо Питти, гремевшему музыкой, подъехала карета одной из самых блистательных дам полусвета, известной под именем Звезды Флоренции.

Эта женщина ворвалась в жизнь Филиппа яркой сверкающей кометой, восхитительной уже самим своим появлением. Полукровка, брошенная цыганским табором и воспитанная одинокой деревенской старухой, она изумляла диким блеском своих по-восточному черных глаз, смуглой кожей, ярким румянцем и шальным веселым взглядом. Полуцыганка-полуитальянка, раскованная и необразованная, своим чарующим голосом – а он оставался чарующим и в ее гортанных ругательствах, и в испанских романсеро, – искристой горячей нежностью и пламенем в каждом движении, в каждом взоре она затмевала бледных утонченных светских красавиц уже тем, что отвергала всякое кокетство, была естественна и в гневе, и в любви, и казалась мужчинам сплошной неожиданностью. Стройная, высокая, сильная, всегда почти полуобнаженная, с копной жестких иссиня-черных волос, которые она никогда не укладывала в прическу, с четкими линиями смоляных бровей на смуглом невысоком лбу, она была неповторимой звездой на небосклоне не только Флоренции, но и всей Тосканы. А ее губы! Эти яркие вишневые губы, столь знаменитые своей чувственностью, заставляли бледнеть даже самых изысканных ценителей женской красоты. Не отвечая общепризнанным канонам, они вдохновляли флорентийских поэтов на создание целых поэм, которых их главная героиня не понимала и со смехом отсылала назад. Она едва умела писать, но разве это можно было считать недостатком? Она была тайной, неожиданностью для мужчин – словом, она была Звездой Флоренции.

Мало кто мог похвастать, что знает ее прошлое. Об этом рассказывали целые легенды. Ее провозглашали дочерью герцога и египтянки, ее отцом становился то Сен-Жермен, то арабский калиф, то индейский вождь, то знаменитый пират Кид... Она не отвергала ни одну из этих сказок; они окутывали ее еще более непроницаемой пеленой таинственности.

На самом деле все было куда проще. Смуглую и грязную девчушку, знавшую только свое имя – Джульетта, оставил в тосканской деревушке цыганский табор. Несколько дней она ютилась на кладбище. Потом в ее судьбе произошла перемена. Джульетту забрала к себе пожилая женщина по имени Нунча Риджи, бездетная и одинокая. Пятилетняя нищенка подвернулась как раз кстати. Убогий дом Нунчи стал пристанищем для Джульетты.

Но чем старше становилась девочка, тем круче заявлял о себе ее восточный темперамент, заглушить который не могли даже самые суровые выговора Нунчи. В пятнадцать лет юная Джульетта ушла из дома; Сиена, а затем Флоренция встретили ее достаточно дружелюбно. В деревню она больше не вернулась. Скандальная известность куртизанки привлекала ее больше, чем серая деревенская жизнь. Свое ремесло она отточила до филигранного мастерства. Джульетта стала звездой Тосканы, можно сказать, местной достопримечательностью. Приезжающие во Флоренцию иностранцы считали необходимым поглядеть на это чудо. Сложилась даже поговорка: «Кто не видел Джульетты, тот не видел Флоренции». Без нее был бы скучен любой бал, любой карнавал. Конечно, в великосветские круги Джульетте путь был заказан, но именно поэтому аристократические салоны в то время были серыми и неинтересными. Сами мужчины спешили скорее покинуть их и удалиться в менее изысканные гостиные, где королевой была Звезда Флоренции.

В то время, когда Филиппа познакомили со столь необыкновенной женщиной, Джульетте было двадцать пять лет, и на стороне, в ее родной деревне, у нее росло пятеро сыновей, старший из которых совсем недавно ослеп. Но по ее виду не было заметно, что ее тревожит это горе. Звезда Флоренции была весела и ослепительна, как всегда.

Филипп был восхищен. Один взгляд этой искрящейся жизнью женщины вернул к жизни его самого. Он встречал кокеток и куртизанок куда более красивых, но эта, с чертами лица, далекими от классических, восхищала и зажигала всех гораздо сильнее, чем те прелестные дамы-статуи, которыми был наполнен весь Версаль. И они смели еще называться женщинами! Нет, теперь обмануть Филиппа было бы трудно, теперь он знал, что такое настоящая женщина. Это не скромная застенчивая Лоретта! В настоящей женщине должно быть что-то от дьявола. Все волшебство мира окутывалось ее очарованием. Ее душа полна неведомых чар – и страшных, и сладких...

Ко всему прочему Джульетта, чувствуя настроение молодого француза, встретила его почти холодно. И это при том, что Филипп уже был наслышан, что она редко кому отказывает... Со стороны Джульетты такая холодность не была кокетством: ей сначала действительно не понравились слишком изысканные манеры и высокомерие француза.

Лишь через месяц – срок для Джульетты почти немислимый! – Звезда Флоренции милостиво приняла и обласкала измученного ожиданием Филиппа. Его белокурые кудри, голубые глаза и светлая кожа подействовали на нее магически. Ей, смуглой и черноглазой, временами казалось, что она и вправду любит его.

Любовь эта не погасла мгновенно, как того можно было ожидать. Соединились две противоположности, стремящиеся изучить друг друга. Взаимопостижение продолжалось долгие месяцы... Мало-помалу наметилось охлаждение. И тут их связало нечто очень нежелательное – ребенок.

Джульетта уехала в деревню. Филипп, лишенный ее любви, ее пылкости, ее поцелуев, бросился в разврат, ища в каждой женщине прелесть Звезды Флоренции. Это не удавалось. И когда Джульетта оправилась от родов, он не спросил даже имени ребенка – Филиппа решительно интересовали только плотские радости.

Столь пылкие любовники расстались навсегда спустя два месяца, не испытывая при этом большого сожаления. Филипп уехал во Францию, где через некоторое время получил чин генерала и женился на Сесилии де Ла Тур. А Джульетта вскоре не могла даже вспомнить лица бывшего возлюбленного.

Девочка, родившаяся 1 мая 1770 года, была окрещена деревенским падре Сюзанной Маргаритой Катариной Анжеликой. По капризу судьбы в ней причудливо соединились черты отца и матери – золотисто-белокурые волосы и черные, по-итальянски глубокие, глаза. О девочке забыли оба родителя.

Дочери принца и Звезды Флоренции не улыбалось будущее.

## Глава первая Лаццарони

1

– Встань. И подойди ко мне.

Голос был сух и холоден, серые глаза смотрели на меня с властным презрением. Я послушно слезла со стула и подошла поближе. Первое, что бросилось мне в глаза, – это деревянные сандалии, надетые на босу ногу, и четки у пояса – неперменные атрибуты монаха-францисканца.

– Подними голову и смотри мне прямо в глаза.

Я исполнила его приказание. Фигура фра Габриэле в черной сутане вызывала у меня страх. И что ему от меня нужно?

– Как тебя зовут?

Старая Нунча, моя бабка, подалась было вперед, чтобы ответить за меня, но фра Габриэле властно остановил ее.

– Молчи, ты здесь не для того, чтобы говорить. Он снова повернулся ко мне:

– Так как же твое имя?

– Ритта Риджи, падре, – сказала я.

– Это неправда, – прозвучал сверху его голос. – Так тебя называют в деревне. А знаешь ли ты свое полное христианское имя?

Я снова опустила глаза. Сама себе я казалась маленькой и ничтожной.

– Меня зовут Сюзанна Маргарита Катарина Анжелика, падре.

Я выговорила эту связку имен почти по слогам. Они звучали для меня странно. В деревне я была просто Ритта, и всё.

– Сколько тебе лет?

– Семь...

– А знаешь ли ты, кто твоя мать?

– У меня нет матери, падре, – сказала я нерешительно. О, как неуютно я себя чувствовала! Холодные стены францисканского монастыря слишком резко отличались от той среды, в которой я росла. Даже детский веселый гомон, долетавший из-за двери класса, казался странным в этом царстве холода и полумрака.

– Это ложь, – произнес фра Габриэле. – У тебя есть мать. Но ты должна забыть о ней.

С каждым словом его голос звучал все холоднее, становясь совсем уж ледяным, и теперь к нему примешалась ненависть.

– Да, ты должна забыть о ней, переступив порог нашей школы. Твоя мать много грешит и мало кается. Ты должна молиться и каяться за нее. И никогда не лгать.

– Да, падре, – сказала я, ничего не понимая, кроме последней фразы.

– Ты должна обещать мне, что никогда не пойдешь по дороге своей матери.

– Хорошо, падре.

– Ты будешь ходить в школу каждый день, кроме праздников и воскресений. Выслушав просьбы твоей бабки, я принял тебя в школу несмотря на то, что почтенные жители деревни не хотели видеть среди своих детей дочь такой женщины, как твоя мать. Ты понимаешь милость, которую тебе оказали?

– Да, спасибо, – сказала я полуиспуганно.

Честно говоря, идти в школу мне совсем не хотелось. Меня за руку притащила сюда Нунча, как когда-то притащила и пятерых моих братьев.

Холодная рука фра Габриэле погладила мои ярко-золотистые волосы, туго стянутые в две косы.

– В вашем племени Риджи все не так, как у других, – проговорил он, обращаясь к самому себе. – Девочка не похожа ни на кого в деревне. Откуда у нее такие волосы?

Нунча развела руками. Губы у нее вздрагивали. Ради сегодняшнего визита она надела чистый чепец и передник. Мне было странно видеть ее в таком состоянии – волнующуюся, испуганную не меньше, чем я. А ведь у нее был такой хриплый громкий голос, от которого этот худой монах мог бы упасть в обморок! Почему же она испугалась этого босоногого францисканца?

– Пойдем в класс. – Он подтолкнул меня вперед.

Я послушно вошла в большую комнату с высоким закопченным потолком. Черным пятном выделялась на желтоватой стене грифельная доска. Множество деревянных лавок были уставлены в ряд одна за другой. В глубине класса, как я заметила, сидели самые старшие ребята, которым уже исполнилось по четырнадцать, – сын мельника Чиро Сантони, которого я люто ненавидела за все те пакости, которые он мне причинял, Либери Барикке и Жианджакомо Казагранде. Бросилось мне в глаза и надменно-удивленное лицо Джованни Джимелли, двенадцатилетней девочки, считавшейся самой красивой в округе.

Увидев меня, класс замер. Все смотрели на меня как на прокаженную, случайно попавшую в среду здоровых людей. У меня засосало под ложечкой. Тоскливо вздыхая, я ловила напряженные взгляды учеников, понимая, что у меня нет здесь ни одного друга. Только мой старший брат, двенадцатилетний Луиджи, приветливо подмигнул. Остальные молча разглядывали меня.

– Ты сядешь на то место. – Фра Габриэле указал на скамью возле окна. – Быстро! Мы начинаем урок.

Я молча села туда, куда мне было приказано, очень сожалея в душе, что не могу сидеть рядом с братом. Здесь мальчики и девочки сидели отдельно.

– Меня зовут Мафальда, – прошептала мне на ухо соседка. – Я из Капориджо. А ты?

Я взглянула на нее – смуглую, черноволосую, с быстрыми глазами.

– А я Ригта.

Она приложила палец к губам:

– Т-с-с! Тихо!

Фра Габриэле развернул длинный список учеников – их было человек пятьдесят, не меньше. В деревне не было школы, и если бы не эта, устроенная братьями францисканцами, все были бы неграмотны. – Бартолани Томмазо!

– Я, падре! – со скамьи мгновенно вскочил сын нашего соседа.

– Верона Беньямино!

– Я здесь!

– Луото Гвидо! Алатри Паоло! Казоли Джузеппина!..

Я слушала эту переключку, наблюдая, как то в одном, то в другом конце класса быстро вскакивают и снова садятся ученики. Слышался шорох падающих книг, шарканье ног и стук мела о доски.

– Риджи Сюзанна!

Увлечшись, я продолжала сидеть, не обратив внимания на названное имя. Оно было мне чужим. Никто не называл меня Сюзанной, и я не привыкла к нему.

Мафальда локтем толкнула меня в бок.

– Что ты сидишь? Отвечай!

– Риджи Сюзанна, – повторил фра Габриэле.

Я вскочила, не зная, что говорить. Много раз повторенные слова вылетели из головы, и из-за испуга я не могла их вспомнить. В классе послышался смех.

– Что ты стоишь? – спросил фра Габриэле.

Я растерялась. Туго заплетенные косы, новые тесные башмаки на ногах, высокие темные потолки в классе сковывали меня, я казалась себе глупой и смешной. Мне стало горько от этого, и я едва сдержала слезы.

– Садись, – ледяным тоном сказал учитель, – и знай, что впредь за свое невнимание ты будешь наказана.

Я села на место, вся красная от стыда. Пальцы у меня дрожали так, что я не могла держать мел. Краешком глаза я смотрела, как рядом выводит какие-то буквы Мафальда, и боялась, что от меня потребуют того же. Никогда раньше я не училась писать и не знала ни одной буквы.

Фра Габриэле писал на доске какие-то буквы, слова, а ученики хором читали их, растягивая звуки, как церковное пение. Я старалась попасть в такт, наперед угадывая, что они будут распевать, хотя слова, написанные на доске, были для меня лишь непонятными знаками. Я все время сбивалась, путалась и краснела, понимая, что такое учение не для меня. Я, наверно, очень бестолковая... И вместе с тем меня начинала одолевать скука. Несколько раз я подавляла зевоту, и мой взгляд непреодолимо тянулся за окно, во двор монастыря, где чирикали воробьи. Один из них вскочил на подоконник и радостно подпрыгивал, заглядывая в класс.

Фра Габриэле вернулся за кафедру и, развернув журнал, принялся вызывать то одного, то другого ученика, приказывая им написать то или иное слово. Ардильо Джеппи сделал две ошибки, за что получил десять ударов линейкой по ладони. Джелиндо Мартини был посажен на ослиную скамью с бумажными длинными ушами на голове. Класс громыхал от смеха. Я тоже смеялась. Сцены, увиденные мною, по нашим деревенским понятиям, не содержали ничего жестокого или унижительного...

Я снова посмотрела в окно. Серые стены заслонили все зеленое цветение мая. Лишь неприхотливые ветви плюща прижились на холодном камне, и ярко-синее итальянское небо оживляло его своей весенней улыбкой. Лужи еще не высохли после вчерашнего дождя, и в каждой из них отражалось солнце. Я улыбнулась, радуясь этой частичке живой природы, проникшей сквозь глухие стены монастыря.

Снова посмотрев на доску и убедившись, что совсем ничего не понимаю, я не сдержала зевка...

– Сюзанна Риджи, – вдруг сказал фра Габриэле, – встань. Я послушно поднялась, испуганная, что меня тоже позовут к доске.

– Сюзанна Риджи, ты видишь ту палку?

Я посмотрела на длинную деревянную линейку, стоявшую в углу.

– Да, падре.

– Я делаю тебе последнее предупреждение. Если ты будешь вести себя подобным образом, я накажу тебя именно этой палкой. Ты поняла меня?

– Да, – прошептала я.

– Тогда садись и слушай.

Я не успела сесть – за дверью задребезжал звонок. Дети мгновенно вскочили. Бросив книги и доски, они бежали к дверям, распахнули их, и вскоре монастырский двор наполнился их криками и веселым смехом. Обо мне все забыли. Фра Габриэле, сложив руки на груди, тоже вышел из класса.

Я всхлипнула. Трудно описать ту неприязнь, которую я испытала к школе и фра Габриэле. Он казался мне мерзким, отвратительным костлявым чудовищем, которое хотело иметь надо мной власть. Как было хорошо дома! Я не хочу, не хочу учиться в такой школе!

Рука Луиджи ласково погладила меня по голове.

– Не плачь, малышка, – сказал он, вытирая слезы. Ты недолго здесь будешь. Как только научишься читать, сразу же перестанешь сюда ходить.

– Правда? – спросила я, пытаюсь понять, то ли он просто жалеет меня, то ли действительно так думает.

– Конечно, правда, Ритта. Ты же девочка, тебе не нужно много знать.

– А ты?

Он пожал плечами.

– А мне тоже эта школа надоела. Брошу ее как-нибудь и уеду во Флоренцию.

Я вздохнула. Слезы высохли у меня на щеках. Я схватила руку Луиджи и крепко сжала.

– Ты мне будешь помогать, хорошо? Он потрянул иссиня-черными кудрями.

– Договорились, буду. Только не сейчас. Пойдем лучше во двор...

Во дворе дети шарахались от нас как от чумных. Даже Мафальда, прослышав, очевидно, о моей матери, уже не заговаривала со мной. Нас никто не задирает, так как Луиджи сам слыл большим задираем, однако мы стояли особняком и не принимали участия в играх. Глаза у меня снова наполнились слезами. Я стояла, крепко прижавшись к брату, словно боялась, что кто-нибудь меня ударит.

– Эта вшивая Риджи даже в школу явилась в лохмотьях, – едко заметила Джованна Джимелли.

Я залилась краской, услышав одобрительный хохот ребят, и невольно оглядела свою одежду. Нет, это неправда! На мне все было чистое – пусть не новое, но чистое, и это меня даже стесняло.

Луиджи, как боевой петух, подскочил к Джованне и схватил за косу. Она завизжала.

– Может быть, мы и ходим в лохмотьях, зато запросто устроим трепку любой разряженной дурочке!

Никто не решился вступить за дочь самого богатого крестьянина в деревне. Все, очевидно, помнили о том, что у Ритты Риджи, кроме Луиджи, есть еще четыре брата... Луиджи несколько раз чувствительно дернул Джованну за косу, ее голова от этого дергалась, как у тряпичного Пульчинеллы, и отпустил. Вся ученическая братия проводила его мрачными взглядами...

– Я все расскажу отцу, – сказала Джованна, красная от стыда. – И отцу, и фра Габриэле!

Забыв о происшествии, остальные дети принялись завтракать. Разворачивая завернутые в бумагу бутерброды и кринки с молоком, брынзу и еще теплый творог, они весело переговаривались друг с другом и смеялись. Я отвернулась, почувствовав голод. Что мне было делать, если Нунча не может давать мне и Луиджи завтраки в школу...

– погоди, – шепнул мне Луиджи, – я сбегая принесу чего-нибудь с монастырской кухни.

Стоять в одиночестве и смотреть, как завтракают, мне было неловко, тем более что они вот-вот начали бы дразниться. Я спряталась за углом, радуясь, что никто этого не заметил. Совсем рядом была серая каменная стена и приставленная к ней деревянная лестница. Не долго думая, я забралась наверх и как можно осторожнее, едва дыша, сделала несколько шагов влево. Стена была высокая, однако шире, чем я предполагала, – по ней мог безопасно проехать всадник, не говоря уже о маленькой семилетней девочке... Набравшись смелости, я пошла дальше до тех пор, пока не очутилась на широкой площадке, предназначенной, вероятно, для осмотра местности. Так высоко я еще никогда не забиралась... У меня перехватило дыхание. Прижав руки к груди, я смотрела вокруг, не замечая, как ветер задирает мою юбку и треплет косы.

Круто шла вниз белоснежная лента дороги, извиваясь и исчезая вдали среди пышных лимонных рощ, которыми были покрыты крутые склоны холма, где стоял монастырь. Среди плодородных тосканских чернозёмов и красноватых суглинков раскинулись кучками деревни и рыбацкие селения. Синий дымок от очагов поднимался в воздух. Острые коричневые крыши выделялись яркими прямоугольниками на фоне чисто выбеленных стен.

Слева, на востоке, грядой стояли пологие холмы, сплошь покрытые оливковыми садами, а у подножия простирались алые ковры маков. Оттуда плыли к нашей деревне легкие перистые облака – редкие на синем небе. Чуть западнее начинались участки возделанных чернозёмов – пышные виноградники с уже наливающейся лозой. Их пересекала блестящая лента реки, выгнувшаяся под солнцем, как капризная красавица. А совсем уж на западе, в тени цветущих кизилковых деревьев нежилась ярко-желтая песчаная коса и сияла ослепительно-голубая морская лагуна. Волна набегала на берег, колыхала рыбацкие сети и утлые лодки. Дальше, по морю, были разбросаны крошечные островки, покрытые цветущими померанцами. Западнее море разбивалось о скалистые рифы, над которыми тяжело нависал старый маяк, построенный почти сто лет назад. Над песчаной отмелью вился дым – там жарили рыбу и продавали морских ежей и устриц...

Это был древний тосканский край – край, где возникли итальянский язык и культура, край, давший Италии Флоренцию. Что могло быть прекраснее Тосканы?

От восхищения я не могла говорить и двигаться. Впервые увидев все это с высоты едва ли не птичьего полета, я была ошеломлена. Школа и монастырь казались мне бесконечно далекими. Мне стоило лишь ступить шаг, и я бы воспарила в небо птицей, соединившись с этой почти божественной красотой... Я слышала голос Луиджи: «Ритта! Ритта!» Он звал меня, но я не хотела откликаться.

Мне было так хорошо, как никогда. Я была счастлива, забыв о чувстве голода и холодном мрачном классе. Теплый ветер ласкал меня своими прикосновениями, целовал заплаканные щеки, вдалеке сияло море, а над головой весело смеялось солнце...

В монастырском дворе было тихо. Я испугалась. Куда же делись дети? Кажется, еще минуту назад они были там, я даже слышала их смех... С лихорадочной поспешностью, рискуя сорваться вниз, я принялась спускаться по лестнице. Неужели уже начался урок и я опоздала?

Я остановилась в нерешительности. Вокруг никого не было. Внимательно прислушавшись, я услышала, как фра Габриэле диктует что-то ученикам. Я опоздала! В груди у меня похолодело, я вновь показалась себе слабой и беспомощной. Не выдержав, я горько заплакала. Идти на урок я боялась, потому что фра Габриэле непременно побьет меня палкой. А оставаться здесь тоже нельзя – вдруг он меня увидит и силой затащит в класс. Дома меня никогда не били, потому что старая Нунча не могла угнаться за мной. Меня охватило чувство бессилия и одиночества. Я вздрагивала от страха, а крупные слезы, как горох, катились по щекам – я глотала их, ощущая, какие они горькие и соленые.

Чтобы успокоиться, я отчаянно терла глаза подолом юбочки. Из маленькой приземистой двери вышел какой-то монах, и я опрометью бросилась в угол, затаив дыхание от страха, что он может меня заметить. Но францисканец лишь набрал ведро воды и снова зашел в дверь.

Я так испугалась, что мгновенно решила во что бы то ни стало убежать отсюда. Я забыла об аспидной доске и карандаше, брошенных в классе. Я уйду сейчас же и ни за что в такую школу больше не приду.

Привратник мирно спал у решетки ворот, опираясь на посох.

Дрожа от страха, я на цыпочках подошла к нему и стала протискиваться между прутьями решетки. Но, хотя я была тоненькая, как стебелек, это оказалось довольно трудным делом. Мне даже показалось, что я застряла, но страх не давал мне ни вздохнуть, ни охнуть. Наконец я выбралась все-таки на волю и, оглянувшись на привратника, побежала вниз по дороге. Через минуту свобода так задурманила мне голову, что я уже ни о чем не помнила.

Изъезженная белая дорога терялась в цветущих рощах. Слезы быстро высохли у меня на глазах, щеки порозовели, и уже никто бы не сказал, что всего десять минут назад я плакала. Теплое дыхание ветра приносило сладкий аромат распускающихся апельсиновых и лимонных деревьев...

У первого же домика я живо стащила тесные новые башмаки, сдавливавшие мои узенькие ступни до боли, и встала босыми ногами на землю, почувствовав себя намного уверенней. Я с наслаждением вытаскивала из волос ненавистные шпильки и быстро расплела косы, ощущая невыразимое облегчение. Потом, босая, в линялой юбочке, белой рубашке и корсажике, побежала в долину так быстро, что только засверкали смуглые пятки...

Дорога пролегла вдоль белых, вросших в землю кантин<sup>1</sup> увитых толстыми лозами старого винограда, вьюнка и мелких китайских роз, рассыпанных среди зелени, как нежные огоньки. По стенам стелился гибкий хмель. Оливы давали густую тень, которая немного спасала от жары. Теплый, даже горячий воздух звенел и золотился в лучах солнца... Редко кто работал в такую жару. Хозяйева вместе с работниками сидели у кантины и, лениво разговаривая, пили из глиняных кружек густое красное вино. Урожай клубники уже был собран, и целый ряд корзин, наполненных сочными ягодами, стоял у домов. Сладкий запах носился в воздухе. Был конец мая 1777 года...

Мне навстречу, позванивая колокольчиками, медленно тянулась в гору повозка, запряженная горбоносим мулом. Мул в нашей деревне считался почти священным. Его сбрую украшали лентами и цветущими ветками, увешивали колокольчиками и осыпали дешевыми блестящими, а в гриву и хвост вплетали разноцветные шнуры.

Я узнала в человеке, сидящем на передке, дядюшку Агатино Сангали. Он был стар, и его волосы белели, словно снег, однако на морщинистом, очень смуглом лице лукаво блестели черные, как уголь, глаза и сверкала по-прежнему белозубая улыбка. Я бросилась к нему.

– Дядюшка Агатино, вы едете к морю?

– Садись, садись, проказница, – сказал он, широко улыбаясь и сразу угадав мои намерения, – садись, подвезу!

Я живо уселась в пустую повозку, обхватив подтянутые к подбородку колени руками. Телега гроыхала так, что заглушала даже сильный треск цикад и сверчков в оливах.

– А зачем вам нужно к морю, дядюшка Агатино?

– Да приказала мне моя старуха купить корзину песка, – отвечал он, погоняя мула. – Вот и еду за покупкой. А по какому делу ты, барышня, спешишь туда же?

Я рассмеялась.

– Корзину песка! Скажете тоже! Вы что думаете, я такая маленькая?

– Нет, большая – ростом не выше трех футов! Сколько тебе лет, Ритта, – пять?

– А вот и нет! – воскликнула я, торжествуя. – Мне уже целых семь.

Мы проезжали мимо участков, обрабатываемых полуголыми людьми с мотыгами в руках. Крестьяне обливались потом. Я подумала, что Нунча, наверно, сейчас тоже чувствует себя не лучше, – ведь она с утра пошла к отцу Филиппо отбеливать белье.

Вскоре впереди замаячила сверкающая кромка Лигурийского моря, ветер стал мягче, влажнее, и жара досаждала меньше. Горячее дыхание сирокко<sup>2</sup> уходило дальше, на север, а здесь воздух пропитывался влагой и застывал над морем легким прозрачным туманом. Я спустила ноги вниз, готовая в любую минуту соскочить с повозки, и жадно втягивала в себя воздух: пахло жареной рыбой. Рядом находился рынок... К сожалению, у меня не было денег. Я быстро искала глазами среди рыбаков фигуру Антонио, моего старшего брата, но все напрасно – он, вероятно, ушел в море вместе со своим хозяином Ремо. Ремо был форестьеро<sup>3</sup>, однако обращался с Антонио очень хорошо и исправно платил жалованье.

На горячем песке, быстро перебирая босыми ногами, пели и плясали женщины в ярких цветастых юбках – смуглые, с распушенными до пояса волосами. В такт их движениям на

<sup>1</sup> Кантина (итал.) – винный погребок.

<sup>2</sup> Сирокко – южный ветер, прилетающий в Тоскану из Африки.

<sup>3</sup> Форестьеро (итал.) – чужак, иностранец.

юбках звенели бубенчики, смуглые запястья были унижены дешевыми деревянными браслетами. Я засмотрелась на ловкие движения загорелых маленьких ступней, и сразу заметила, что рядом с танцовщицами валяется большой бубен. Я подбежала поближе, схватила его и принялась звенеть в такт танцу, отчаянно подражая всему тому, что делали женщины. Я была как Под жарким солнцем стройные танцовщицы казались сказочными феями. Их танец был так грациозен, что заставлял забывать и о крикливой безвкусице их нарядов, и о дешевых браслетах. Смуглые руки взлетали к синему небу, томно изгибались станы, быстро переступали по песку ноги и запрокидывались красивые головы, еще больше обнажая грудь...

Рыбаки смотрели не отрываясь. Глаза у них блестели. Когда женщины кончили танцевать, я бросилась собирать в бубен монеты. Они со звоном падали на кожаное днище... Их было так много, что я даже удивилась.

Одна из женщин ласково погладила меня по голове.

– Спасибо, ты помогла нам, – сказала она. У нее были большие черные глаза и яркий алый рот. Я смотрела на нее с восхищением.

– Я бы хотела стать такой же красивой, как вы. Женщина рассмеялась.

– Ты непременно станешь еще красивее... Вот, возьми себе в награду.

Она протянула мне две серебряные монеты. Я крепко зажала их в кулачке и долго смотрела, как танцовщицы усаживались в телегу и покатали по песчаному берегу.

– Смотрите, дядюшка Агатино, – сказала я, счастливо улыбаясь, – мне дали целых две монеты.

– Ты славно поработала, шалунья! Теперь как раз время обеда. А брата своего ты уже видела?

– Где?

Я огляделась по сторонам и даже подпрыгнула от радости, заметив высокую фигуру Антонио. Он находился среди других рыбаков, склонившихся над сетями. Солнце золотило их крепкие полуобнаженные тела, казавшиеся теперь почти черными. Лишь изредка вспыхивала на загорелых лицах белозубая улыбка, немного нарушавшая сходство фигур со статуями, вытесанными из черного мрамора.

Я бросилась к брату, но вовремя вспомнила, что радостный крик помешает его работе, и сдержала свой порыв. Море нежно ласкало песок, а волна накатывалась и откатывалась, чуть шумя, а вода была такая лучезарно-прозрачная, что я отчетливо видела причудливые камни на дне. Закатав юбку до колен, я подошла ближе. Рыбаки ловили крабов, выискивая их среди коряг и камней. Солнечные лучи пронизывали воду до самого дна, и прозрачные скользкие медузы переливались всеми цветами радуги, тихо покачиваясь на волнах.

Антонио, увидев меня, улыбнулся и, доверху наполнив крабами кожаный мешок, висевший у его пояса, обнял меня за плечи.

– Смотри, смотри, Антонио, – зашептала я поспешно, – у меня есть целых две монеты! Мы можем пообедать.

– А как твоя школа, сестренка?

– Ах, я ушла оттуда.

Я не боялась говорить правду Антонио. Несмотря на свой внешний вид – хищное лицо с надвинутой на один глаз черной повязкой, – он пугал кого угодно, только не меня. Я знала, что он любит меня и всегда защитит, всегда одобрит то, что я делаю. Он считал меня маленькой и смешной и никогда не то что не сердился на меня, но даже не раздражался.

Однако добр он был только со мной да еще с несколькими друзьями. В свои семнадцать лет по отношению к другим он мог быть и жестоким. Ему ничего не стоило избить обидчика до полусмерти или выбить ему камнем глаз. Свою черную повязку он носил для устрашения противников – оба глаза были у него целы. В деревне его называли висельником.

– Ну, что ж, – сказал он весело, – у меня как раз есть вино. Пойдем-ка к рыбному рынку – там найдется еда.

Он отвязал от пояса маленькую фьяску<sup>4</sup> и, подхватив меня на руки, пошел вдоль лагуны к трем агавам, где расположился базар.

Рыбный базар состоял из громахающей телеги, запряженной двумя огромными лошадьми-тяжеловозами и уставленной корзинами с живой рыбой, пылающей жаровни, на которой жарили тунцов и лососей, и разложенных кучек морских ежей, креветок, устриц, крабов и омаров. Устрицы были слишком дороги для нас. Антонио купил двух больших морских ежей. Их полагалось резать пополам, поливать их соком кусочки мягкого хлеба и выскрести из скорлупы все остальное. Я уписывала это лакомство за обе щеки...

Антонио протянул мне фьяску с вином.

– пей. Эту еду полагается запивать вином.

Альмандиновое вино, густое и сладкое, было для меня привычным. Слегка защипало в горле, и щеки порозовели – вот и все. После нескольких глотков я почувствовала себя веселой, бодрой и свежей, готовой идти хоть на край света.

– Мы с Ремо сейчас поедем ловить пеццони<sup>5</sup>, – сказал Антонио. – Хочешь поехать с нами?

Я с радостью кивнула, заранее зная, что это маленькое плавание будет чудесным. Я любила Ремо заочно, потому что о нем хорошо отзывался Антонио. Да и вообще, здесь, на берегу, я любила всех, потому что видела, что никто не отворачивается от меня с презрением, никто не насмехается, как это было совсем недавно в школе.

– Ремо, это моя сестра Ритта, – сказал Антонио хозяину. – Возьмем ее с собой, хорошо?

Тучный рыбак с голубыми глазами и окладистой серебристой бородой очищал лодку от водорослей. Он посмотрел на меня и улыбнулся:

– Гм, придет время, и в глазах этой девчушки утонет не один парень.

Я наивно улыбнулась, не совсем понимая это замечание, но чувствуя, что оно содержит похвалу мне.

Антонио подхватил меня на руки и перенес в большую, колышущуюся на воде барку, похожую на корабельную шлюпку. Ремо отвязал от колышка длинную веревку и, подталкивая барку правой рукой, шел по дну, пока вода не достигла его широкого кожаного пояса, завязанного на животе огромным узлом. Потом он довольно ловко для своего грузного тела перескочил через борт барки, обдав меня снопом соленых брызг.

Зазвенели цепи. Я огляделась: на дне барки лежал тяжелый чугунный якорь, прикрепленный к длинной цепи, и несколько железных крючков с тяжелым грузилом.

– Садись за весла, – сказал Ремо Антонио, – а я займусь твоей сестрой.

Барку качало, ласково омывали ее борта прозрачно-голубые волны, и в такт им тихо вызванивала цепь. Струйки воды стекали с поднимающихся и опускающихся весел, слышался скрип уключин. Берег быстро отдалялся от нас, фигуры рыбаков казались все меньше... Воздух становился терпким и густым от запаха соли, йода и золотисто-зеленой морской травы, набросанной на дно барки и высыхающей под лучами солнца.

– Куда мы направляемся? – спросила я.

– За пеццони, – сказал Ремо. – Видела такую рыбу?

– Я даже пробовала ее... Мне ее давала Ида, служанка отца Филиппо.

Ремо утвердительно качнул головой.

– Это хорошая рыба, и на рынке она идет за хорошие деньги... Видишь ту цепь? Пеццони ловят стоя на якорь. Она водится на большой глубине.

Берег вскоре исчез из виду, и теперь только волны да крикливые чайки окружали барку.

---

<sup>4</sup> Фьяска (итал.) – оплетенная бутылка для вина.

<sup>5</sup> Пеццони (итал.) – очень вкусная рыба с розовыми плавниками.

– Мы плывем на север, Ритта, – сказал Ремо, поймав мой вопросительный взгляд. – По направлению к Ливорно. Ты была когда-нибудь там?

Я смутилась, не решаясь признаться, что не была нигде, кроме своей деревни, и неуверенно покачала головой.

– Ничего, еще побываешь. А может, и замуж выйдешь за одного из ливорнских моряков.

– Ремо, а вы были в Пизе? – спросила я.

– И в Пизе, Ритта, и во Флоренции, и даже в Париже... Увидев восхищение на моем лице, он рассмеялся и погладил по голове:

– Ты хорошая девчушка, Ритта, и совсем не похожа на итальянку.

– А я и не итальянка, – твердо возразила я.

– А кто же ты?

– Я тосканка, – гордо сказала я.

Он снова улыбнулся и протянул мне бумажный сверток:

– Возьми, это очень нравится моим сыновьям.

Я развернула бумагу и ахнула. Пышный, ароматный, невообразимо аппетитный панджалло – кекс, начиненный изюмом и цукатами! Раньше такие лакомства я ела только на Рождество...

– Ремо, можно я вас за это поцелую?

Не дожидаясь разрешения, быстро подошла к рыбаку, обхватила его могучую шею, ощутив резкий запах рыбы и ласковое щекотание бороды, и несмело прикоснулась губами к давно не бритой щеке. В этот миг барку сильно качнуло, и я едва не выпала за борт. Меня вовремя подхватила сильная рука Ремо...

– Осторожнее, малышка, тут легко угодить к черту! – Он увидел, как судорожно я зажала в руке панджалло, боясь его выронить, и расхохотался, глядя меня по плечу. – Ох, похоже, ты за свою жизнь боялась меньше, чем за этот подарок...

Я покраснела, но ощущение счастья от этого не уменьшилось.

Вскоре Антонио бросил весла, и они с Ремо спустили вниз чугунный якорь. Громко дребезжала цепь... Тяжелыми, очень длинными крючками мои спутники выискивали по дну редкостную пещони. Она водилась глубоко, между кораллами, за что ее еще называли коралловой рыбой. Наконец Антонио хрипло вскрикнул от первой удачи, и холодная, почти прозрачная рыба шлепнулась на дно барки. Я никогда не думала, что она такая красивая. Ее сияющие розовые плавники сверкали на солнце, как лезвия...

Рыбы бешено бились на дне, подпрыгивали, едва ли не танцевали на хвостах и жадно хватали воздух, но выскочить из барки не удалось ни одной.

Лов длился долго, до тех пор, пока солнце из желтого не превратилось в пунцовое и стало клониться к горизонту. По волнам пробежала легкая рябь, ветер усилился, и жара спала. Приближался вечер, начинающийся на юге довольно рано и опускающийся на землю непроглядной темнотой, почти минуя сумерки. Ремо поворотил барку к берегу.

Я наклонилась за борт и опустила руку в воду. Волны пробегали у меня между пальцами, даря им приятную прохладу.

Я задумалась, подставляя лицо ветру... Волосы развевались и слегка щекотали шею.

– Смотри, Ритта, корабль! – сказал Антонио, обнимая меня за плечи.

Обуреваемая любопытством, я обернулась. Большой красавец-корабль медленно двигался вдоль качающегося горизонта по темно-синей кромке моря. Ослепительно-белые паруса мощно надувались на фоне потемневшего неба, облитого красно-золотым светом заката. Могучий, сильный, бесстрашный, корабль уходил вдаль, и я, следя за ним глазами, вдруг почувствовала тоску...

Ремо внимательно вглядывался в буквы, черневшие на борту корабля.

– Это «Роза Средиземноморья», – наконец сказал он. – Идет из Ливорно в Марсель.

– Что это – Марсель? – спросила я тихо.

– Город во Франции, Ритта. Если мадонна захочет, ты побываешь там.

Мы причалили к берегу спустя полчаса – он был уже пуст. Рыбаки закончили свою работу и ушли в деревню. Рыбный базар тоже опустел. Лишь одна девушка стояла под агавами и махала нам рукой. На ней была широкая длинная юбка с передником из яркой ткани и черный корсаж поверх рубашки, плотно облегающий грудь.

– Смотри, Антонио, – сказала я, – она нас ждет.

Брат взглянул туда, куда я показывала, и вдруг заволновался, заспешил, быстро снял с глаза черную повязку и поправил растрепанные волосы.

– Ну, все, Ремо, я пойду...

Он пошел к девушке быстрыми широкими шагами.

– И ты иди, малышка, – подтолкнул меня Ремо, – иди в деревню и ешь свой панджалло...

Из любопытства я тихонько пошла вслед за Антонио и, приблизившись к агавам, изумленно остановилась. В девушке я без труда узнала Аполлонию Оддино. Антонио обнимал ее за талию и целовал...

Они заметили меня.

– Ты что здесь стоишь? – с деланным гневом спросил брат. – А ну-ка, быстро домой!

Рассмеявшись, я строптиво тряхнула головой и быстро побежала по дороге, ведущей в деревню. Темнота не была мне помехой, и лишь острые камни на дороге больно кололи ступни.

Сбежав с холма так стремительно, что ветер свистел в ушах, я увидела в долине деревню, мягко белевшую в свете луны и звезд. Чудесное зрелище открылось моим глазам. Между стройными, как свечи, кипарисами, высаженными вдоль дороги, вспыхивали, гасли и феерически летали, сияя сверкающим ярким светом, крошечные золотые огоньки. Это были летающие мушки-светляки. Они цеплялись за ветки, зависали в воздухе, вспыхивали то ярче, то тусклее и придавали бархатной южной ночи волшебную таинственность. Один светляк неудержимо помчался в мою сторону и, прежде чем я успела отшатнуться, сел на белокурый локон, как маленькая золотая звезда. Я дунула на него: он испугался, погас и улетел...

А между тем в долине среди олив и кипарисов пылали совсем другие огни – большие, яркие... Пламя факелов освещало деревенскую площадь. Я слышала задорные звуки музыки, громкую песню мандолины и неистовое брэнчание гитары.

Тарантелла!

Бешеный, зажигательный танец, более быстрый, чем сардана, попавшая к нам из Сардинии, и более любимый, чем родной сальтарелло!

Ведь сегодня праздник клубники! Мне показалось, что я уже чувствую сладкий аромат ягод. Забыв обо всем, я помчалась в деревню как на крыльях.

Пока я добежала, музыка смолкла, и парни с девушками разошлись в разные стороны. Сегодня все были одеты празднично: мужчины – в короткие штаны, белые вышитые рубахи и короткие куртки или безрукавки, со шляпой или беретто<sup>6</sup> на голове; женщины – в длинные шерстяные юбки, белые рубахи с широкими рукавами и яркие передники. Волосы были плотно уложены под серыми или желтоватыми высокими шапочками.

– Выберем Маргу!

– Куда ей! Лучше Франческу!

– Фьяметту, только Фьяметту!

Я радостно следила за этим спором: выбиралась самая красивая девушка деревни, которая целую ночь будет даром раздавать клубнику всем, кто только пожелает, – лишь бы урожай был хорошим и крепкое получилось вино в этом году!

---

<sup>6</sup> Беретто (итал.) – головной убор, похожий на чулок.

– Можно было бы Джованну, однако она еще мала... Речь шла, несомненно, о Джованне Джимелли, и я нахмурилась: кому могла прийти в голову мысль избрать моего врага?

Парни расхохотались.

– Уж тогда лучше выбрать Ритту Риджи – у нее золотые косы, как ни у кого в деревне...

– Вы, вероятно, просто сумасшедшие, – осудил это предложение старый Джорджио Саэтта, дымя старой вонючей трубкой. – Оставьте в покое детей! Разве в нашей деревне перевелись красивые девушки? вспомните хотя бы Аполлонию Оддино...

Парни недовольно переминались с ноги на ногу.

– Она путается с этим висельником, с Антонио, – сказал Антеноре, хмурия брови.

– Проворнее надо быть, – заявил Джорджио Саэтта. – А если уж девушка обошла всех вас, нечего хмуриться. Выбирайте ее – она самая красивая!

Девушки запротестовали, а вслед за ними и старые почтенные крестьянки, однако мужчины дружными возгласами поддержали предложение старого Саэтты.

– Где Аполлония? Где?

– Я найду ее, – заявила я важно. – Но только мой брат не висельник. Антонио очень хороший.

– Ты смотри, какие тут козявки бегают! – сказал Антеноре. – А ну, убирайся отсюда!

Раздался дружный хохот, но старик Саэтта поддержал меня.

– Ритта – хорошая девчушка, – заметил он, – нужно иметь много мужества, чтобы защитить своего брата перед такими, как вы. И не нужно ее прогонять. Она мала, однако сегодня праздник для всех – и для детей, и для стариков.

Я бросилась бежать за Аполлонией, однако меня остановил как из-под земли выросший Луиджи.

– Ты куда делась из школы? – спросил он. Глубоко вдохнув воздух, я почувствовала исходивший от него запах кьянти<sup>7</sup>, стакан которого давали на празднике даром.

– Фра Габриэле сказал, что ты грешница, – продолжал Луиджи и рассмеялся. – Он приказал тебе прийти завтра утром, иначе он проклянет тебя.

– Ага, если я приду, он побьет меня палкой. Луиджи погладил меня по щеке.

– Не ходи, малышка. Он почему-то сразу на тебя взъелся. Я тоже скоро брошу школу... Поступлю на службу к судье и буду переписывать ему бумаги. Ты же знаешь, какой у меня почерк.

Почерком Луиджи восхищалась вся округа. Он выводил стройные, изящные буквы, ложившиеся в строке одна в одну, и с такими росчерками и невообразимыми завитушками, что все поражались умелой руке этого лаццарони, как нас называли в деревне.

– Куда ты бежишь? – спросил Луиджи.

– Вот-вот, и я об этом хотел спросить, – услышала я знакомый голос за спиной и с радостным визгом бросилась на шею Винченцо, другому старшему брату. Аполлония, которую выбрали первой красавицей деревни, вылетела у меня из головы.

Винченцо было шестнадцать лет, и, как все в нашей семье, исключая меня, он был рослый и крепкий не по годам. Светлые, слегка рыжеватые волосы брата золотились при свете факелов. Правой рукой он полез в свой необъятный карман и высыпал мне в ладони полную пригоршню миндаля и засахаренных фруктов.

– Винчи, ты такой добрый! – воскликнула я, сияя от счастья.

– Она этого не заслужила, – проворчал Луиджи. – Ритта сбежала сегодня из школы.

– И правильно сделала, – поддержал меня Винченцо. – Из-за вашего евнуха фра Габриэле я не намерен изменять своим привычкам. Раз в неделю я приношу Ритте сладости. Почему сегодня я должен поступить иначе?

---

<sup>7</sup> Кьянти (итал.) – любимое вино тосканских крестьян.

Винченцо работал подмастерьем у пизанского кондитера. Услыхав слова брата о фра Габриэле, я удивленно вытаращилась на него.

– Ох, Винчи, слышала бы Нунча, что ты говоришь о монахе!

– Да, Нунча страдает набожностью...

Он подхватил меня на руки и посадил себе на плечи. Мои босые ноги свешивались ему на грудь. Отсюда, сверху, мне было лучше видно недовольство на лице Луиджи. Смягчившись, я протянула ему несколько цукатов.

– Вот оно что, – произнес Винченцо, – Аполлонию, девушку Антонию, кажется, выбрали первой красавицей...

Я поглядела на площадь и увидела, что Аполлонию отыскиали и без меня, или, быть может, она нашлась сама. Девушки увенчали ее самодельной короной из нарциссов, левкоев, роз и незабудок, в волосы вплели оливковые ветви. Отовсюду на площадь несли тяжелые корзины с клубникой...

От нетерпения я задргала ногами.

– Ох, Винчи, я хочу поскорее туда!

Брат добродушно рассмеялся, похлопав меня по босым ногам:

– Ты превратила меня в настоящего факино<sup>8</sup>!

Я зачерпнула ладонью горсть прохладных крупных ягод. Сладкий аромат душистой клубники шекотал ноздри. Я два раза чихнула. Ягоды были сочные, упругие, одна в одну...

– Ах, я буду есть клубнику целую ночь!

Аполлония была очень красива в венке из весенних цветов – румяная, смуглая, с сияющими черными глазами, она раздавала клубнику целым ковшом. Антонию смотрел на нее не отрываясь. Я заметила, что хищное выражение исчезло с его лица, но взгляд приобрел какую-то страстность, дикое нетерпение. Если бы кто-то смотрел такими глазами на меня, я бы непременно испугалась. Но Аполлония не пугалась, а только смеялась и краснела все больше.

– Ты, видать, решил съесть ее вместо клубники, – язвительно заметил Антеноре.

Антонию обернулся со стремительностью дикого тигра. Его худощавое мускулистое тело напряглось, на руках четко обозначились сухожилия. Черные, как угли, глаза вспыхнули бешеным злым огнем.

– За такие слова ты проглотить свой язык, Антеноре!

Он ринулся на насмешника яростно и неудержимо. Аполлония вскрикнула. Не помня себя, я бросилась к брату и что было мочи обхватила руками его сзади.

– Антонию, Антонию, перестань, ну пожалуйста! – закричала я, захлебываясь.

Вмешались мужчины, и потасовка была остановлена. Толстая Констанца, мать Аполлонии, схватила дочь за руку.

– Они совсем забыли Бога, эти парни! О мадонна! Устроить драку из-за моей дочери в самый разгар праздника!

Я всхлипывала, еще не придя в себя от пережитого испуга:

– Антонию... Зачем тебе эта... эта Аполлония... разве тебе плохо с нами?..

Брат стоял нахмурившись и, взглянув на меня, усмехнулся:

– Пойдем домой, малышка. Старуха Нунча уже, наверно, не в себе от твоего отсутствия.

Он едва заметно кивнул подавленной Аполлонии, сделал знак братьям:

– Эй, Луиджи, Винчи! Мы уходим домой ужинать! Только теперь я почувствовала, как у меня урчит в животе.

Клубники я съела мало, да и еда это неважная. Ноги у меня подгибались от усталости, глаза слипались – набегалась я за этот день.

---

<sup>8</sup> Факино (итал.) – носильщик.

– Кажется, эта дуреха спит на ходу, – ласково сказал Винченцо. – Ну-ка, иди ко мне на руки!

Трещали цикады. Светлячки сверкали еще ярче, чем прежде. Ночь была напоена запахами цветущих лимонных деревьев и распускающихся померанцев. Кипарисы вдоль дороги были облиты сумрачным лунным светом и слегка качались под ветром. Горы на востоке слились с черным небом и выделялись в темноте лишь едва заметной синей дымкой.

Нунча встретила нас на пороге. Она была уже в своем обычном наряде, выдающем, что она не следит за собой. Грязно-седые космы выбивались из-под серого опавшего чепца, рваный передник был закопчен и замаслен, широкие рукава рубахи закатаны до самых локтей. Нунча была высока и толста. Вырез рубашки открывал плотную коричневую шею, всю покрытую морщинами. Глаза у нее были черные, как у истинной итальянки, брови – седые и густые. Говорила она громко, грубым резким голосом, несколько охрипшим от того, что любила иной раз пропустить стаканчик не только вина, но и кое чего покрепче.

– Явились, мерзавцы! А я уж думала, что вы сдохли где-нибудь под забором, и благодарил за это мадонну... А вы живы, дьявол вас побери! Где же вас носило, паршивцев эдаких?

Ее брань нас не пугала: мы привыкли к ней, как к самой нежной ласке. Она сопровождала нас от самого рождения. Мы знали, что старая Нунча не питает к нам ненависти, просто такой уж у нее характер.

– Давай ужинать, старушка, – миролюбиво сказал Антонио, – спать ведь хочется.

– О, вы посмотрите на него – ужинать! А у самого вся рожа в крови. С кем это ты дрался? Верно, с таким же чертякой, как сам!

Бранясь и чертыхаясь, она швырнула на стол миски и ложки, поставила горшок с заранее разогретой к нашему приходу полентой<sup>9</sup> и блюдо с нашим любимым лакомством, приготовленным к празднику, – горячими фаринате<sup>10</sup>.

– Лопайте, язви вас в кочерыжку!

Она разлила по мискам необычайно густую дзуппу<sup>11</sup>. Некоторое время слышно было, как стучат ложки.

– Эта маленькая дрянь сбежала из школы, – объявила Нунча, глядя на меня с гневом. Я съежилась. – И поделом тебе достанется завтра от фра Габриэле!

Губы у меня задрожали, лицо искривилось, и я всхлипнула. Слезы были готовы сорваться с ресниц.

– А я не пойду завтра в школу, – пролепетала я дрожащим голосом.

Брови Нунчи грозно сдвинулись к переносице.

– Что ты там пиццишь? Говори громче, чтобы я слышала!

– Ритта говорит, что не хочет больше ходить к фра Габриэле, – громко повторил Луиджи.

– Что за чушь! Ты думаешь, я даром сегодня ходила в монастырь? Я не позволю тебе больше бегать по деревне без дела!

В гневе она замахнулась на меня ложкой, будто собиралась ударить. Я втянула голову в плечи и, не выдержав, разревелась.

– Хватит шмыгать носом, глупая девчонка!

Нунча хлестнула меня полотенцем. Вскрикнув, я прижалась к локтю Антонио и горько заплакала ему в рукав. Брат поднялся из-за стола.

– Не трогай Ритту, бабушка, – сказал он твердым голосом. – Если она не хочет, то в школу больше не пойдет, и точка.

---

<sup>9</sup> Полента (итал.) – густо сваренная кукурузная каша, которая подается на стол нарезанной ломтями.

<sup>10</sup> Фаринате (итал.) – блины из чечевичной муки.

<sup>11</sup> Дзуппа (итал.) – очень густой суп из фасоли, бобов, картофеля и других овощей с размоченным в нем хлебом.

– С каких это пор ты стал тут приказывать? – взревела Нунча. Ее черные глаза гневно сверкали из-под белых бровей.

– С тех пор, как начал зарабатывать.

Винченцо тоже поднялся. Они с Антонио вносили такую долю в наше хозяйство, что без них мы бы наверняка умерли с голоду.

– Я хочу спать, – сказал Винченцо. – Ритта, завтра ты останешься дома. Тебе будет достаточно того, чему научит тебя Луиджино.

Я поняла, что победа осталась на моей стороне, и радостно улыбнулась сквозь слезы.

Нунча некоторое время смотрела на двух своих воспитанников, уже не в первый раз переживших ей, и распалась все больше и больше. Но делать ей все же было нечего. Она в гневе швырнула полотенце в угол, повернулась к нам широкой, мощной спиной и яростно зазвенела мисками, убирая посуду.

Антонио погладил меня по голове.

– Все в порядке, Ритта. Иди спать.

Я улеглась на топчан возле потухшего брачьери<sup>12</sup> и крепко прижалась к самому старшему брату, Джакомо. Возле него было так тепло и уютно... Джакомо спал, но, почувствовав мое прикосновение, проснулся. Его быстрые и проворные пальцы пробежали по моему лицу, стремясь «увидеть» меня, коснулись моих глаз, носа, щек, погладили волнистые волосы, ласково щекотнули шею... Джакомо был слеп. Когда ему было десять лет, он тяжело заболел. Болезнь закончилась слепотой... Сама я уже не помнила его зрячим. Он не годился ни на какую работу, кроме чтения молитв, которые знал так хорошо и много, что мог читать их два часа кряду без остановки.

Джакомо, темноволосый и стройный восемнадцатилетний юноша, был самым красивым из моих братьев, и даже несмотря на свою слепоту, нравился девушкам. Особенно красивы его глаза – темно-голубые, большие, в ореоле длинных черных ресниц. Лишь только темные зрачки были странно неподвижны и устремлены в одну точку. Джакомо был не такой смуглый, как все остальные в нашей семье, у него были изящные ласковые руки с чувствительными и длинными, как у гитариста, пальцами. Если бы он был одет побогаче и поизысканней, все непременно принимали бы его за настоящего синьора.

– Это я, Ритта, – прошептала я, прижимаясь губами к его щеке. – Мы только что с праздника. Джакомино, милый, расскажи сказку.

Он улыбнулся.

– О фее Кренского озера или о трех апельсинах?

– Обе...

Его рука мягко гладила мои волосы. Я устало закрывала глаза и тихо слушала мерное журчание старой сказки. Голос у Джакомо был замечательный – тихий, выразительный, легко изменяющийся при подражании разным героям сказки.

– В далеких Ниольских горах, где так редко идут дожди, где камни от жары рассыпаются в прах, а земля сохнет и становится твердой, словно кремь, жались к склонам бедные дома маленькой деревни...

Яркие волшебные картины оживали у меня в воображении, вспыхивали перед глазами разноцветными радугами. Братья тоже молчали, хотя я знала, что они не спят. Джакомо было невозможно не слушать. Мы понимали, что наш слепой старший брат на самом деле талантливее всех нас, вместе взятых...

– В этот миг явилась перед ним фея: косы у нее были словно сплетенные из золотистых солнечных лучей, глаза голубые, как вода Кренского озера, а щеки – как нежные лепестки

---

<sup>12</sup> Брачьери (итал.) – переносная жаровня для отопления.

цветов шиповника... «Слушай, Франческо! – сказала она. – Я – фея Кренского озера. И я решила исполнить три твоих желания...»

Мягкий туман сна окутывал меня. Сказка завораживала, переносила из темной убогой комнатухи в просторные сверкающие миры, где все блещет яркими красками – голубыми и белыми, розовыми и бледно-желтыми...

– ...И тогда разрезал принц третий, самый большой апельсин. Он раскрылся, как цветок раскрывает лепестки, и явилась перед принцем девушка невиданной красоты. Уж какие красивые были те две другие, но рядом с ней они бы показались просто дурнушками. Лицо ее было нежнее, чем лепесток апельсинового цветка, глаза зеленые-зеленые, как завязь плода, а косы золотые, как кожа спелого апельсина.

Джакомо наклонился надо мной, словно проверяя, сплю ли я. Мое дыхание было ровным и спокойным, однако я не спала, а лишь засыпала. Он повернулся к братьям.

– Ритта спит, – тихо сообщил он. – Я слышал, у вас снова была размолвка с братьями Сантони?

– Не со всеми братьями, – отозвался Антонио. – Только с Антеноре.

– Из-за чего?

– Из-за Аполлонии.

– Да и не только из-за нее, – добавил Винченцо. – Если еще хоть один выродок из этого проклятого семейства посмеет обидеть Нунчу, или Ритту, или кого-нибудь из нас, я им покажу, что такое настоящая вендетта<sup>13</sup>.

– У нас с ними давняя вражда, – глухо сказал Антонио.

– У нас с ними вражда, – как эхо, повторил Джакомо. Антонио раздраженно перевернулся на бок, натягивая на себя одеяло.

– Ты, Винчи, будь поосторожнее, – тихо произнес он, – не попадайся Сантони на пути, когда ты один. У тебя слишком горячее сердце.

– У тебя оно еще горячее.

– Но я старше и сильнее, Винчи.

Дальше дослушать я уже не смогла. Сон упрямо тянул меня в сладкое желанное забытие. Веки стали так тяжелы, что я была не в силах открыть глаза. Мелькнула лишь мысль о том, что братьев Риджи больше, чем братьев Сантони. Но сон мягкими прикосновениями погасил эту мысль, и я заснула.

2

Хотя нас и называли в деревне лаццарони, наш дом едва ли чем-то отличался от остальных деревенских построек. Мы жили на окраине деревни, возле быстрого пенистого притока реки Магры – вода в нем, сбегая с гор, была холодная и прозрачная, как хрусталь. На реке стояла мельница синьора Клориндо Токки. По оба берега тянулись необозримые пышные виноградники. Лоза уже в июне наливалась пряным золотистым соком и сгибалась до земли. Восточнее, за роскошным маковым лугом, находилась траттория<sup>14</sup> дядюшки Джемметто. Она стояла как раз возле проезжей дороги. Здесь проходил путь к Пизе, Ливорно и Флоренции, поэтому постоялый двор никогда не пустовал. Правда, немного вредило ему соседство с кладбищем, но оно было так удачно спрятано за густой стеной кедров, что не сразу бросалось в глаза.

Белая лента дороги делилась надвое и вела, соответственно, к деревне, и к усадьбе синьора графа Лодовико дель Катти. Этот красивый дом большую часть года пустовал: графское семейство служило во Флоренции герцогу Тосканскому. Нельзя сказать, что casa del Catti<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Вендетта – обычай кровной мести, бытующий в Италии, т. е. «око за око, зуб за зуб».

<sup>14</sup> Траттория – трактир, постоялый двор.

<sup>15</sup> Casa del Catti (итал.) – дом дель Катти.

был любим у нас в деревне – ведь он служил австрийцу, посаженному на трон великих тосканских герцогов. Но его богатство не могло не внушать степенным крестьянам уважения. Так что, можно сказать, наш дом находился в выгодном положении, несмотря на то, что располагался далеко от церкви, монастыря и деревенской площади. Двускатная острая крыша была крыта коричневой и красной черепицей. Дом был каменный, двухэтажный, как и у всех в деревне, но построенный в незапамятные времена и уже начинавший рушиться. К тому же в нем было почти пусто. Пьяно террено<sup>16</sup>, отведенный под хлевы и кладовые, соответствовал своему назначению лишь наполовину. В хлеву у нас была жалкая корова по кличке Дирче, которую мы не знали, как прокормить, и два поросенка. Земли у нас своей не было, поэтому Розарио, моему брату, приходилось водить Дирче по чужим выгонам, за что он не раз получал трепку. На полках кладовых лежали желтые круги сыра: пекорино – сухой соленый сыр из овечьего молока, рикотто – соленый и пресный, и моццарелла – сыр из молока буйволиц... Этого добра у нас было достаточно. Зато мяса мы не видели по целым месяцам. Нунча держала кур, но, по-видимому, только из потребности в яйцах.

На прямо пьяно, то есть втором этаже, все было, как обычно: кухня, где Нунча готовила пищу и где мы ели, комната, где мы спали, и амбар. С первого на второй этаж легко было взобраться по внешней каменной лестнице, из которой в детстве мы выбивали плитки для игр, заканчивающейся старым скрипучим балконом. Туда Нунча сваливала все старье – одежду, прялки, грязные тряпки.

Кухня наша была большая и закопченная. Только здесь был постоянный очаг, вокруг которого мы коротали холодные зимние вечера и обсуждали самые важные дела, на котором готовили пищу. К дымоходной трубе на Рождество я цепляла рваный чулок, ожидая найти там рождественский подарок. Здесь же, возле очага, помещался грубо сбитый деревянный стол, такой крепкий, что не расшатался даже после многолетнего использования. Масляные и винные пятна, жир и сок крепко въелись в его потемневшую древесину. Стены на кухне всегда были черны. Лишь в первой половине дня сюда заглядывало солнце. Потом Нунча, к старости начавшая плохо видеть, зажигала свечу или лучину – лампу она приберегала для другой, спальноей комнаты.

В этой комнате стены были чисто выбелены и разрисованы цветами, в углу висело деревянное распятие, а пол был устлан опрятными дорожками, вывязанными самой Нунчей. В углу, под распятием, белела подушками высокая кровать, на которой спала Нунча. Был еще расшатанный старый топчан, на который обычно претендовала я. Братья спали на тюфяках, положенных на пол. Зимой им, наверно, было холодно, несмотря на то, что комната обогревалась с помощью двух брачьери, напоминавших железные тазы с ручками, заполненные древесным углем.

Наш корте<sup>17</sup> тоже ничем не отличался от других. Подобно остальным, он имел форму четырехугольника, окруженного высоким забором, почти стеной. В корте вели скрипучие массивные ворота в ограде. Входящий почти сразу же натыкался на ток для обмолота зерна, помещенный в центре. Впрочем, ток был на что-то годен в те незапамятные времена, когда была построена наша усадьба. Собственного зерна у нас не было, и мы покупали муку у Клориндо Токки, на что уходили почти все заработки Винченцо и Антонио. У нас был лишь клочок земли, на котором рос виноград для кьянти. Впрочем, наша полувросшая в землю кантина так и осталась почти пустой. Кроме виноградника, мы имели довольно-таки большой огород, на котором Нунча выращивала все подряд – чечевицу и морковь, фасоль и бобы, картофель и томаты для пиццы. В огород часто забирались куры и поросята. За ними Нунча ухаживала

---

<sup>16</sup> Пьяно террено (итал.) – буквально: этаж на земле. В Италии счет этажей идет со второго. Соответствует нашему первому.

<sup>17</sup> Корте (итал.) – двор.

особенно тщательно, чтобы иметь возможность на каждое Рождество угощать нас коронным блюдом – бифштексами.

В нашем корте была еще одна достопримечательность – роскошное, раскидистое ореховое дерево, которое кроной, казалось, доставало до неба. Урожай с него мы собирали небывалые. Из орехов Нунча делала сладости, а остатки продавала или выменивала на сахар, чай или кое-какую одежду.

По деревне разносились прощальные звуки благовеста. Был большой веселый праздник, отмечаемый 24 июня, – день Сан-Джованни. 20 Сегодня целую ночь будут гореть костры, через которые будут прыгать парни, крепко сжимая руки девушек. Сегодня большой, благоприятный день для гадания на суженых... Девушки и замужние крестьянки одеваются в лучшие наряды и идут в церковь к утренней мессе, к исповеди и причастию. Это, так сказать, половина праздника... Настоящее торжество начнется вечером, когда на землю спустится темнота. Считается, что нет в году ночи, более благоприятной для любви.

Сегодня Луиджи был героем дня. Отец Филиппо нынче провел конфирмацию<sup>21</sup> всех деревенских сорванцов, которым уже исполнилось по двенадцать. Это было красивое зрелище. Девочки в белых платьях и мальчики в новых чистых костюмах, выстроенные в ряд, приковывали внимание всех прихожан. Отец Филиппо впервые дал им проглотить священную облатку. Крестным отцом Луиджи стал дядюшка Агатино Сангали. Нунча вытирала слезы. Сам Луиджи, аккуратно причесанный, в новой куртке со всеми пуговицами, казался пай-мальчиком. Впрочем, он скоро доказал обманчивость этого впечатления, сильно толкнув в бок Джованну Джимелли, – она тоже проходила конфирмацию. Джованна вскрикнула и едва не упала. Это происшествие не огорчило меня, однако Нунча не на шутку рассердилась, и если бы не праздник, Луиджи получил бы хорошую нахлобучку. Впрочем, это был не единственный неприятный случай. Отец Филиппо, вопреки всем ожиданиям, не сообщил о помолвке Антонио Риджи и Аполлонии Оддино. Он упомянул многие пары, однако имена моего брата и Аполлонии не прозвучали. Трудно было понять, в чем дело. Ведь только вчера Констанца, мать девушки, уговорила своего мужа, старого упряма Бенито, согласиться на их брак, и Антонио был счастлив. Теперь же, после утренней мессы, брови Антонио были нахмурены, в глазах появилось бешенство. Аполлония, которую держала за руку мать, казалась заплаканной.

Выходя из церкви, я услышала обрывок разговора Нунчи с матерью невесты Антонио. Тяжело дыша, Констанца объясняла:

– Еще вчера вечером все было в порядке. Но ночью, видимо, Бенито плохой сон приснился. Он сказал мне, что, мол, семья у Антонио плохая. Конечно, говорит, обе наши семьи бедны, однако мы, Оддино, выше Риджи, потому, что мы честные люди.

– Сколько еще они будут вспоминать о Джульетте, – морщась, произнесла Нунча. – Она ведь и не приезжает почти никогда, и мои мальчики не зовут ее матью.

– Да и я такого же мнения. Нельзя же, говорю, помнить об этом до третьего колена! А Бенито мне отвечает: нет, Аполлония – первая красавица, она найдет себе мужа из хорошей семьи. Так и не удалось мне с ним сладить. Еще перед началом мессы, на рассвете, он зашел к отцу Филиппо и попросил отменить оглашение о помолвке.

Сокрушаясь, обе женщины разошлись по домам, договорившись хранить согласие в таком важном деле, как брак Антонио и Аполлонии.

Несмотря на праздник, в обеденную пору в доме никого не было, кроме меня и Розарио. Десятилетний Розарио был просто толстым бездельником, очень отличавшимся от всех остальных моих братьев: целыми днями он только то и делал, что бродил по деревне в компании друзей или спал где-нибудь на земле под тенистым эвкалиптом. В отличие от Антонио и Винченцо, он был мягок и добродушен и характер имел ласковый и уступчивый. Его легко было убедить в чем угодно. Ко всем он относился одинаково ровно, и в его взгляде нельзя было подметить той лукавой хитрецы, что сверкала в глазах Луиджи.

Подобрав под себя ноги, он сидел у окна, жуя праздничный пирог и время от времени бросая крошки голубям, что толпились у ступенек. Я осторожно собирала губкой оливковое масло со стола – я пролила его, и эту оплошность нужно было заглядить до прихода Нунчи. Она отправилась в роскошный дом синьора дель Катти за пряжей.

Лето было в разгаре. Жара стояла такая, что трудно было пройти по улице от дома до церкви. В усадьбах побогаче были спасительные жалюзи на окнах. Даже в море теперь уже мало кто выходил, и лишь изредка Лагуна оживлялась фелукой<sup>22</sup> наиболее выносливых рыбаков. Легкая прохлада наступала лишь поздним вечером. Днем же крестьяне спасались в тени кантин, увитых густым плющом.

Наш двор был густо затенен роскошными кизилковыми деревьями. Ягоды кизила уже покраснели, но оставались твердыми и кислыми. Урожай обещал быть большим, но поспеет он лишь поздней осенью. К тому же существовала примета: чем щедрее урожай кизила, тем холоднее зима...

Но сейчас о зиме никто не думал. Масличные ягоды отягощали ветки деревьев. Густо рдели в саду гроздья белладонны – ее можно выгодно сбыть пизанским и ливорнским модницам... За воротами, по склонам и бугоркам, спускающимся на выгон, пестрели кучки диких кактусов и алоэ.

– Смотри-ка, солдаты, – отозвался Розарио. – И арестанты с ними.

Заинтересовавшись, я оттолкнула брата от окна. По жаркой дороге, мимо трагтории дядюшки Джепетто пять солдат гнали трех арестантов. Обросшие, грязные, оборванные, они едва передвигали ногами, закованными в кандалы. Мне показалось, я слышу звон цепи. Солдаты были изнурены зноем и, казалось, охотно бы расстались со своими подопечными.

– Это, наверно, разбойники из банды Энрико Фесты, – восхищенно проговорил Розарио. – Я слышал, их потрепали где-то под Пизой.

Разбой ватаги Энрико Фесты не были редкостью в наших местах. Одна банда сменяла другую, и так повелось издавна... Были такие, что грабили только богатых, и такие, что не гнушались ничем. Но Энрико Феста прославился, наверно, на всю Тоскану. Полгода назад он со своими ребятами напал на наш францисканский монастырь.

– И куда же их ведут? – спросила я. – В нашу деревню?

– Глупая! Нет, конечно. Наверно, в мраморные карьеры где-то под Каррарой, в горах. Там есть каменоломни для каторжников...

– Это там течет Магра?

– Где-то поблизости...

Розарио сладко зевнул, почесав затылок. В доме было очень жарко, и его лицо покраснелось. Вдруг он вскрикнул.

– Ты что?

Брат указывал пальцем на ворота.

– Видишь карету? Вот чудеса-то! Это наша мать приехала! Нунча не спеша распахивала ворота. Было видно – и по ее сдвинутым бровям, и по суровой походке, и по чрезмерно энергичным движениям, в которых ясно чувствовалось желание кое-кого избить, – что она сердита. Впрочем, я еще ни разу не видела, чтобы Нунча радовалась приезду своей воспитанницы.

– А бабка, кажется, кипит, – сказал Розарио. – Еще бы! Вся деревня будет знать, что мать к нам ездит. Не видать Антонио Аполлонии, как своих ушей.

Мать вышла из кареты с каким-то щеголем, обращавшимся с ней довольно небрежно. Было видно, что и эта карета, и кучер, и два фореитора принадлежат не ей, а являются собственностью этого господина. Синьор был молод и богато одет. Несмотря на жару, его роскошный костюм, повергший меня в трепет, изобиловал лентами, кружевами и россыпью бриллиантов. На стройные ноги, которыми он явно гордился, были натянуты шелковые чулки в продольную полоску, изящные туфли с пряжками, почему-то показавшиеся мне дамскими, и

шелковые панталоны кремового цвета. Светлый камзол самого нежного персикового оттенка оживлялся белоснежной манишкой и горой кружев, возвышавшейся на груди синьора чуть ли не до подбородка. Шляпу с плюмажем и позументами синьор отдал слугам, а сам разговаривал с Нунчей. Разговор был в высшей степени любезный – об этом свидетельствовала покровительственная улыбка, мелькавшая на губах синьора, лорнет, в который он разглядывал наше жилище, и платок, которым изящно зажимал нос. На голове у синьора был изумительный завитой парик, весь посыпанный пудрой.

Я выбежала на крыльцо, внимательно разглядывая мать. Она громко разговаривала на нашем диалекте, не считая нужным посвящать спутника в смысл своего разговора.

На вид Джульетте Риджи было тридцать три – тридцать четыре года. За то время, что я ее не видела, она, кажется, осталась такой же стройной, но как-то осунулась. На щеках горел слишком яркий румянец, а лицо словно бы утратило былую смуглость, стало блее, мягче, округлее. Но огромные черные глаза, матовые, как потушенные угли, были все так же веселы и беззаботны. На плечи падала копна жестких смоляных волос, курчавых, как у мавританки, но узкий лоб с бровями вразлет был открыт. Мать смеялась и делала это, видимо, намеренно, чтобы похвастать ослепительно-белыми зубами.

Я смотрела на нее с восхищением. Она казалась мне плохой, испорченной, презираемой и все-таки красивой. Яркими рубинами сверкало на ее шее кроваво-красное ожерелье. Глубокий вырез платья открывал два холмика груди, колышущихся от смеха. Вся ее фигура была гибка, очаровательна и ловка настолько, что я невольно почувствовала зависть. «Когда я вырасту, – подумала я, – я тоже буду иметь такие плечи, такую талию и такую грудь. Да, такую. Я хочу быть такой же красивой».

Но еще более поражал меня наряд матери. Пышные юбки из бордового бархата были так широки, что пришлось проходить боком, а кавалер не мог идти с ней рядом, вынужденный шествовать на два шага впереди, держа ее за руку. Эти юбки шелестели при каждом движении, каждом вздохе, наполняя мой слух настоящей музыкой. Украдкой я взглянула вниз, и увидела тоненькие атласные туфельки с бантами – такие тоненькие, словно мать не ходила, а летала по воздуху. Наверное, там, где она живет, нет каменистых дорог и горных тропинок, иначе бы она давно изорвала это чудо в клочья. Яркие и резкие цвета одежды были полным контрастом костюму приехавшего незнакомого синьора.

Крикливость и безвкусица наряда матери сплелись в такой невероятный букет, что невольно привлекали взгляд и – очаровывали.

Я подняла на мать восхищенные глаза. Усмехнувшись, она потрепала меня по щеке.

– Видите, Пизелла<sup>18</sup>? – спросила она у спутника. Я фыркнула в рукав, услышав такое прозвище. – Эта девчонка – вылитый папаша. У нее только глаза мои.

Синьор с улыбкой переступил с ноги на ногу. Его рука быстро проскользнула под локоть спутницы и обняла Джульетту Риджи за талию.

– Ну, и кто же был этот отец, моя прелестная?

– Ах, да такой же глупец, как и вы, Пизелла. Умных мужчин так мало.

– Он, вероятно, откуда-то с севера? Из Милана?

– Он из Парижа, черт возьми! И он мне нравился, дьявол! Но потом я ему сказала: катись, дружок, ты мне наскучил. Как и вы, Пизелла.

– Но ты еще не предлагала мне убираться, – со сладкой улыбкой заметил синьор, смягчая энергичное слово матери «катиться» на более скромное «убираться».

– Конечно, раз уж вы вызвались сопровождать меня в эту дыру.

– Только поэтому? – возмутился синьор. – Я купил тебе двух рысаков!

---

<sup>18</sup> Пизелла – горошина.

– Рысаки хороши, Пизелла, но вы, вы сами! Впрочем, недаром же я придумала вам такое прозвище.

– Да, но я...

Желая успокоить поклонника, мать небрежно и снисходительно поцеловала его в нос – первое, что подвернулось.

– А где же все? – спросила она, оглядываясь по сторонам. – Этот дом всегда был похож на сумасшедший, здесь постоянно толпились маленькие паршивцы разных возрастов. А теперь здесь так тихо! Мамаша, может быть, ты их разогнала?

Не отвечая, Нунча наполнила доверху две глиняные кружки дешевым кислым вином и отошла в сторону, всем своим видом показывая: все, больше я вам ничего не дам.

Мать залпом выпила содержимое кружки и совсем по-деревенски утерлась рукавом. Синьор, видя это, тоже пил, пытаясь изобразить на лице некое подобие улыбки, в которой ясно ощущалась кислота вина.

– Так где же мои дети, мамаша?

– Дети! – мрачно повторила Нунча. – Вспомнила о детях! Эх, да если бы ты была одна, без этого щеголя, сказала бы я тебе, где твои дети!

– Что она говорит? – изумленно осведомился синьор.

– Закройте рот, Пизелла, и как можно крепче, – огрызнулась Джульетта. – Золотая моя мамаша, я сюда не шутки шутить приехала. Я хочу видеть своих детей! Где Джакомо и Антонио? И остальные?

– Джакомо обедает у отца Филиппо, – хмуро проворчала Нунча. – А Антонио жениться собрался.

Мать расхохоталась.

– Жениться – этот бандит? Да у него на лице написано, что он будет убивать людей! Ну, и кого же он выбрал?

Сердце у меня сжалось. Я видела, что мать не любит нас, что она приехала сюда лишь затем, чтобы развлечься... И, хотя я тоже не испытывала к ней никаких чувств, от ее равнодушия мне стало горько.

– Аполлонию Оддино, – проговорила Нунча. – Если бы ты не приехала, все было бы в порядке. Но тебя всегда черти несут тогда, когда ты меньше всего тут нужна.

– Ах, да пускай женится, – презрительно улыбаясь, сказала мать, – ему все равно место в тюрьме, я поняла это, когда...

Я возмутилась. Зачем приехала сюда эта недобрая женщина, зачем она смеется над нами, что ей нужно?

– Ты шлюха, да? – громко спросила я. – Я знаю, мне говорили!

– Дура! Кто тебя научил так говорить?

– Антонио! – произнесла я вызывающе. – Ему вовсе не место в тюрьме! Он правду мне сказал, я знаю!

Со странной улыбкой мать положила мне на плечо руку, пахнущую чем-то сладким, и крепко сжала.

– Все говорят, что ты шлюха, – упрямо повторила я, – вся деревня это знает...

– Гм, – насмешливо сказала она, – а ты хоть знаешь, что это такое?

Знаю ли я?! Я едва не задохнулась и от возмущения сжала кулачки. Пусть я не очень понимаю, что значит слово «шлюха», зато я многое могла бы порассказать о том, как нас оскорбляют в деревне, как гонят и уязвляют едкими намеками и как некоторые, упоминая Джульетту Риджи, презрительно сплевывают сквозь зубы – все из-за нее, из-за матери!

– Это из-за тебя нас все не любят, – проговорила я, глядя исподлобья, – и Антонио тебя не любит, а я Антонию верю.

– Ну, хорошо, – сказала мать улыбаясь, – как же они говорят обо мне?

– Они называют тебя шлюхой. И еще говорят так: я видал шлюх, но таких, как Джульетта Риджи, не встречал!

Я в точности повторила слова Петруччо Потты, услышанные мною случайно.

– Вы слышите, Пизелла? – обратилась мать к спутнику. – Ох уж это мужичье! Ну, скажите, кто во Флоренции не счел бы за счастье быть моим любовником? Меня содержит сам герцог Тосканский! А эти мужики копаются в грязи, выжимают последние соки из своих дрянных виноградников и еще болтают всякую чушь!

Синьор согласно кивал головой, не отводя взгляда от соблазнительного выреза на платье Джульетты Риджи.

– Вот видишь? – снова повернулась ко мне мать. – Даже Пизелла согласен со мной, а ведь Пизелла не последний человек в Тоскане, он граф Риппафратта.

Она наклонилась ко мне и поцеловала в лоб.

– Ты глупа, Ритта. Я не шлюха. Никто не называет меня так – только в вашей деревне. Я – Звезда Флоренции, понимаешь? Это очень трудно – быть звездой. Но я достигла этого. Я знаю свое ремесло. И оно приносит мне деньги. У меня есть все: платья и драгоценности, есть такие вещи, о которых здесь и не слышали.

Я молчала, удивленно глядя на нее.

– И если какая-нибудь негодяйка посмеет упрекнуть тебя, что твоя мать – шлюха, скажи им, что твоя мать – звезда! Пусть хоть одна из них сумеет взлететь так высоко! Эти коровы и бранятся лишь потому, что их мужья в постели только храпят.

Она подняла мое лицо за подбородок и какой-то миг пристально меня разглядывала.

– Ты красива, Ритта. Ты совсем не похожа на меня, но твой папаша, этот дьявол, был хорош собой. У тебя золотые волосы, и, когда ты вырастешь, все мужчины будут оглядываться тебе вслед, потому что блондинка во Флоренции – редкость. Если, конечно, ты будешь жить не в этой деревне и сумеешь встретить настоящих мужчин.

Она порылась в своей крохотной сумочке, наполненной всякими мелочами, и протянула мне длинную конфету.

– На, возьми, Ритта, ты самый удачный мой ребенок. Я не оставлю тебя здесь... Лет через пять я заберу тебя во Флоренцию. А до тех пор знай: тебе нечего стыдиться меня.

Я подняла голову и улыбнулась:

– Можно мне что-то спросить?

– Да сколько угодно!

– Зачем тебе эти ленточки на рукавах?

Широко раскрыв глаза, я наивно ждала ответа на свой вопрос.

Она рассмеялась.

– Ведь это не ленточки, а кружева, малютка! Я могу сказать тебе, зачем они... Так, для красоты.

– Но ведь они мешают, – заявила я.

– Да, мешают... Но ведь они красивы, правда? Я была вынуждена признать это.

Мать, как всегда, не позаботилась ни о каких подарках для нас. Дав мне и Розарио по конфете, она поспешила назад, говоря, что у нее важное свидание. Синьор снизошел до того, что погладил нас по голове. Не дождавшись остальных своих сыновей, мать уехала, оставив на столе немного денег для Нунчи. Последняя вышла проводить их до ворот.

Мы с Розарио сидели, ели конфеты и чувствовали, как увеличивается наше разочарование.

– И все-таки она плохая, – произнесла я, облизывая пальцы.

– А ты, Ритта, ей нравишься больше всех, – заметил брат, но без зависти. – Только я не знаю, какой тебе от этого толк. Ты поедешь с ней во Флоренцию, если она захочет тебя забрать?

Я задумалась.

– Не знаю... Мне бы хотелось побывать во Флоренции. Ремо говорит, что там очень красиво.

– А я понял, – сказал Розарио, – наша мать хочет, чтобы ты стала такой же, как и она. Я не обратила внимания на его слова и мечтательно улыбнулась.

– А какая она красивая, Розарио... И платье у нее так шуршит.

– Нашла чему завидовать!

Нунча вернулась в дом взволнованная, возбужденная. На ее белых ресницах дрожали слезы.

– Бабушка, ты плачешь? – изумленно спросила я.

Она присела к столу, утирая глаза краем передника и шмыгая носом.

– Я ведь вашу мать вот с такого возраста помню! – Она указала рукой высоту, равную половине ножки стола. – От горшка два вершка... И пускай о ней что угодно говорят, а все-таки она моя дочь, хоть и не родная, а дочь. Я ее пятнадцать лет растила! В одних лохмотьях подобрала, не знала даже, из какого она племени. В то время через деревню цыгане проходили; может, они и бросили... Только по-цыгански она говорить не умела.

– Значит, ее цыгане украли, – рассудительно сказал брат.

– И я так думаю, – подхватила Нунча, уже почти успокоившись. Она вся грязная была, чумазая, невытая, как цыганчонок, но я сразу поняла, что она наша, тосканская. Я ее спрашиваю: «Ты, наверное, голодная?» А она говорит: «Нет»... А у самой только глаза на лице и остались – черные такие, злющие, я даже испугалась.

Нунча посмотрела на грязную посуду, оставшуюся после завтрака, на горшок, где булькала дзуппа, и вдруг схватилась за веник.

– Вы что сидите, бездельники? Я вам покажу! Вы думаете, если сегодня праздник, так все на меня можно свалить, да?

Розарио медленно пятился к двери, но Нунча ловким ударом веника отогнала его оттуда.

– Куда направился! Бери нож и кроши мне сыра для пасты<sup>19</sup>!

Она обернулась ко мне.

– А ты беги за Антонио! Он мне нужен. Сегодня нарежем курицу.

Вздыхнув, я выбежала на крыльцо. День сегодня удивительный.

Улица была пуста. Я побежала к морю – туда, куда из церкви направлялся Антонио. Босые пятки неприятно жег горячий камень дороги. На лбу у меня выступили капельки пота. Было очень жарко, а солнце, стоящее в зените, безумствовало все больше. Казалось, даже кактусы и алоэ на бугорках вдоль дороги желтеют и вянут. От запаха лимонных роц воздух был душным и приторным. Желая сократить путь, я начала спускаться с утеса по узкой крутой тропинке. Внизу я видела жесткие, как отточенные лезвия, листья агав. Сияло ослепительно-голубое море, оттененное белоснежным крылом рыбацкой фелуки – одной-единственной на горизонте. Уже чувствовался запах йода и водорослей...

Я прыгала с камня на камень, почти не теряя равновесия, – горы были для меня привычны. Внизу шумело море...

И вдруг из-за огромного валуна мелькнула чья-то соломенная шляпа. Я остановилась, узнав в человеке Антеноре Сантони. «Наш враг» – так говорили о нем Антонио и Винченцо.

Лицо Антеноре, смуглое и худошавое, блестело от пота. Зубы блеснули в недоброй усмешке, и резче выделился шрам, пересекающий его щеку от виска к уху.

– А, маленькая дрянь, – сказал он, подходя ко мне.

Я невольно попятилась, споткнулась о камень и упала. От страха у меня перехватило дыхание.

---

<sup>19</sup> Паста (итал.) – блюдо из макарон с томатным соусом, маслом и тертым сыром.

– Я бы мог бросить тебя в море, – зло улыбаясь, сказал Антеноре, склоняясь надо мной. – Мог бы бросить, и никто бы не узнал.

Внизу, под утесом, гулко бились волны о скалы... Я молчала, вся дрожа.

– Слушай, что я скажу. – Его сильные пальцы до боли впились мне в плечо. Я всхлипла. – Не хнычь! Скажи Антонию, чтобы он оставил Аполлонию... Ты поняла, козьявка? Иначе или он, или эта сволочь Винченцо получит вот что!

Он выхватил из-за пояса огромный нож. Отточенное широкое лезвие сверкнуло на солнце...

– А теперь сгинь отсюда! – Он больно толкнул меня ногой.

Я вскочила, вся дрожа от страха, и сломя голову бросилась бежать вниз, сама не помня, куда и зачем. Я только помнила, как ужасен этот Антеноре, какой у него нож и какая лупара<sup>20</sup> за плечами... Я тысячу раз могла сорваться вниз со скалы и разбиться, но страх перед падением был меньше, чем страх перед Антеноре Сантони. И вдруг я остановилась, переводя дыхание, как загнанный заяц. Тихие странные звуки привлекли мое внимание. Казалось, там, внизу, кто-то стонет. И не от боли, нет. В этих постанываниях не было горечи, а что-то непонятное, зазывное, сладко-страшное...

Еще дрожа от страха, я подползла к краю скалы, взглянула вниз и онемела.

Внизу, среди кустов орешника, на густой ярко-зеленой траве я увидела два томно сплетенных тела. Это были юноша и девушка, предающиеся любви. В свете солнца их обнаженные тела были очень красивы – смуглые, точеные, созданные словно для резца скульптора. Он сплетались в неразрывных объятиях; мужчина ритмично двигался, я слышала его тяжелое дыхание, а девушка, казавшаяся под телом своего любовника хрупкой и слабой, страстно смыкала ровные стройные ноги у него на бедрах... Ее кожа была свежа и смугла, как лепесток розы; мужчина ловил губами ее рот, ее тугие от вожделения соски, дерзко торчащие в разные стороны; и все движения любовников были так томны и страстны, что этой страстью наполнялся звенящий от жары воздух.

Женщина стонала и вскрикивала, а мужчина подминал ее под себя так безжалостно, словно хотел раздавить, уничтожить ее хрупкое тело своим, сильным и крепким.

Пораженная, я узнала в них Антонию и Аполлонию.

Волна смущения залила меня с ног до головы, я вспыхнула до корней волос и задрожала, но уже не от страха, а от той сладко-ужасной, непристойной и манящей тайны, которая только что мне открылась. От увиденного веяло неприличием и наслаждением, оно было и отталкивающим, и прекрасным одновременно.

Громкий то ли вздох, то ли стон пронзил мой слух, я увидела, как по телу брата пробежала дрожь, он напрягся, закидывая назад голову, и на его полубезумном от страсти лице с закрытыми глазами мелькнула странная улыбка; ноги девушки резко поднялись вверх и вдруг опустились. Их тела были так сплетены, словно разъединение означало для них смерть.

Не в силах преодолеть стыд, отчаяние, разочарование и любопытство, терзавшие меня одновременно, не в силах разобраться в обуревавших меня чувствах, я бросилась бежать прочь. По-прежнему стояла жара, и у меня перед глазами вспыхивали желтые круги. Встрепанная, возбужденная, разгоряченная, я старалась убежать подальше от этого места.

А солнце еще светило, напоминая, что нынче день Сан-Джованни и что вот-вот наступит лучшая в году ночь для любви.

3

Утро того страшного дня выдалось удивительно погожим и тихим. Лето давно закончилось, и пришло время вспомнить поговорку: после дня святого Симона веер уже не нужен. Приближались холода, а день святого Симона был переломным между теплом и морозами. Он

---

<sup>20</sup> Лупара – охотничье ружье.

отмечался 27 октября, когда заканчивалась уборка урожая, а в садах наливался соком сладкий кизил и благоухали, золотясь на солнце, ароматные апельсины, лимоны и мандарины.

В этот день пробовали новое вино – густое, сладкое альмандиновое и пьянящее кьянти. Обычно вечером вся деревня была пьяна. А с утра пекли крепкие золотисто-коричневые каштаны, что гулко падали с обвисших ветвей, и добавляли их к жареным креветкам и всем другим кушаньям, какие только сегодня готовились.

Обессилел, а потом и вовсе затих огнедышащий сирокко, все лето приносивший с берегов Берберии и Сицилии знойное дыхание юга, и море подернулось серебряной зябью волн. Они вздымались сильным, прохладным ветром. Теперь часто случались бури – внезапные, страшные, настоящее бедствие для рыбаков: перед выходом в море стоит полный штиль, а среди морской равнины бешеный ветер вдруг вздымает огромные волны, устоять перед которыми удастся немногим баркам. Ветер затихает так же быстро, как и появляется, и море вновь становится шелковым и блестящим, без единой морщинки, и лишь слегка кипит возле рифов и скал.

Засверкали золотым кружевом сады, облетела листва, и лишь вечнозеленые пихты ничуть не переменились под влиянием холодов. Часто случались грозы и бурные ливни, и гром бушевал так, что нельзя было понять, стихия это или мощные взрывы пластов в каррарских мраморных рудниках.

Мы только что пообедали. Винченцо разгребал жар в очаге, шевеля каштаны. Я сидела рядом и мечтательно вдыхала запах поленты с мясом, которую мы только что съели.

– Так ты думаешь бросать своего кондитера, да, Винчи? – хриплым голосом спросила Нунча, уже немного захмелевшая.

– Да... Это не мужская работа.

– За нее хорошо платили. И куда же ты пойдешь?

Винченцо пожал плечами – в последнее время он сильно раздался в плечах, и старая куртка едва сходилась на нем.

– Я хочу наняться погонщиком в каменоломни. Буду возить мрамор. Вот это настоящее дело...

– Но там же работают одни каторжники, – отозвался Луиджи. – И взрывы там такие, что здесь слышно. Говорят, многих пришибло в этих скалах.

– Зато платят хорошо, – лаконично заметил Винченцо.

– Конечно, ничего тебе не станется, – проговорила Нунча. – Винченцо, ты крепкий парень. Я не скажу, конечно, что уж совсем здоровяк, но за это лето ты хорошо вырос. Хвала пресвятой мадонне, у нас в семье никто не жалуется на здоровье.

– Нам надо бы дом подправить, – окидывая глазом потолок, сказал Винченцо, – и земли прикупить... Если Антонио женится на Аполлонии, большого приданого она не принесет.

– Хорошо еще, что хоть такая за него хочет пойти, – ворчливым тоном сказала Нунча. – Где уж нам, голытьбе, мечтать о богатых невестах...

– Аполлония самая красивая в деревне, – вступилась я.

– С красоты мало толку... Была бы здорова. Скрипнула дверь. Вошел Антонио – встрепанный, взмокший и злой; швырнул в угол беретто, отвесил подзатыльник Розарио и устало присел к столу. Нунча налила ему тарелку дзуппы. Густые брови брата были яростно сведены к переносице, он смотрел исподлобья, скрывая под ресницами недобрый блеск глаз.

Винченцо, не говоря ни слова, выгреб из огня печеные каштаны и сыпал их в большое желтое блюдо. Не вытерпев, я схватила первый попавшийся, несколько раз перебросила с руки на руку, боясь обжечься, и отправила в рот это лакомство с аппетитной хрустящей корочкой.

Брат потрепал меня по щеке.

– Подожди немного, потом вкуснее будут.

В кухне воцарилась тишина, нарушаемая лишь сопением Антонио. В полном молчании он отодвинул от себя тарелку и, громыхнув стулом, вышел в другую комнату. Винченцо машинально погладил меня по голове, подбадривающе подмигнул и вышел вслед.

Я прижалась ухом к дверной щели, вслушиваясь в то, о чем говорят за дверью.

– Ты встретил его? – спросил Винченцо.

– Нет, черт возьми. Его встретила Аполлония.

– И что?

– Он грозил ей, она испугалась. Потом рассказала мне. А отец Аполлонии держит сторону Антеноре – у него, видишь ли, семья лучше. Одна Аполлония противится. Вот он, видно, и решил ее уломать.

Антонио говорил резко, прерывисто, и его слова звучали как выстрелы.

– Ну, и что же ты? – спросил Винченцо после некоторой паузы.

– Что ты все спрашиваешь, как да что, болван? Неужели тебе не ясно, что я сделал?

– Ты нашел Антеноре?

– Нашел и избил. А если бы не появился его брат Чиро, то убил бы.

– Ты спятил!

– А про вендетту кто болтал – ты или я?

Я медленными тихими шагами отошла от двери и пересказала услышанное на ухо Нунче. Она покачала головой.

– Проклятые мальчишки, сопляки, сорванцы, молокососы! – взревела она, распахивая дверь комнаты. – У вас еще усы не выросли, а вы какую чепуху болтаете! На что замахнулись! И думать об этом забудьте... Плетки на вас хорошей нет, черти!

Братья мрачно молчали, опустив головы. Потом Винченцо поднялся и ласково погладил старуху по плечу:

– Успокойся, бабушка. Ведь ничего не случилось, правда? Нунча отвесила ему подзатыльник, хлестнула полотенцем Антонио и, хрипло всхлипывая, села на стул.

– Вы думаете, раз я стара, значит, и управы на вас нет? Если вы будете вести такие разговоры, я найду управу... я жандармам все расскажу! Пусть лучше они посадят вас в тюрьму на целый год, чем я буду такие речи слушать.

Она вытерла глаза и стала жаловаться:

– Мне ведь уже скоро восемьдесят, а я как проклятая бегаю вокруг вас. И никогда мне нет покоя. Стольких негодяев вырастила, и ни от одного даже спасибо не дождалась. И никто меня не хочет слушать. Когда-нибудь я от ваших дьявольских выходок умру, и тогда не смейте ходить на мою могилу.

Громко зазвенела оконная рама, прервав жалобы Нунчи. Похоже было, кто-то бросил камушек. Антонио подошел к окну.

– Тебе чего? – мрачно спросил он.

Я взглянула вслед за ним: внизу стоял некий Джино Казагранде, краснощекий толстый мальчишка лет тринадцати. Он служил вместе с Антонио у Ремо, но брат всегда отзывался о нем не слишком одобчительно.

– Ремо вернулся из Ливорно, – сообщил Джино, прищурив один глаз. – Он хочет сегодня выйти в море.

– Сегодня? В праздник?

– Ремо сказал, что заплатит вдвое больше.

– Хорошо, – хмуро сказал Антонио, – я подумаю.

Он захлопнул раму окна. Джино, воровато озираясь, пошел к воротам и, выбравшись на дорогу, так припустил к морю словно за ним кто-то гнался.

– Это ловушка, – сказал Антонио. – Я не пойду. Эта собака Джино знает с Сантони. Я не верю ему... Они подослали его, чтобы выманить меня в горы.

Винченцо покачал головой. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка.

– Не перегибай палку, Антонио. Ты, конечно, можешь остаться дома и правильно сделаешь – кому охота работать в праздник, но я не думаю, что этот толстяк пришел нарочно. Сантони – трусы. Они боятся нас... Они решаются грозить только Аполлонии или Ритте. Ко мне еще ни один из них не подошел открыто.

Он набросил на плечи куртку, зажал в руке беретто.

– Куда это ты? – настороженно спросила Нунча.

– Дон Эдмондо пригласил меня на стакан кьянти... У него красивая дочь, – добавил он лукаво.

– Аделе? – спросила я, широко открыв глаза.

– Да, Аделе.

Антонио медленно подошел к брату.

– Будь осторожен, Винчи. Я уверен, что Джино приходил не просто так. Тебе лучше не ходить сегодня горной дорогой. Иди в обход... Так будет безопаснее.

Винченцо надел беретто: его рыжевато-русые волосы резко контрастировали с темным тоном шерсти. Он улыбнулся – открытой, веселой и доброй улыбкой, осветившей все его смуглое лицо от упрямого подбородка до золотистых ресниц.

– Хорошо. Будь спокоен, Антонио. Я пойду в обход. Собственная жизнь мне еще не надоела.

Они крепко обняли друг друга, словно прощались на долгое время.

– Я провожу тебя, Винчи! – крикнула я, обрадованная, что есть повод сбежать на баштан.

Он протянул мне руку:

– Хорошо, только не отставай!

Последнее замечание оказалось неуместным: едва мы вышли за ворота, как Винченцо посадил меня себе на плечи.

– Я ведь уже большая, – запротестовала я смущенно.

– Ничего, меньше башмаков собьешь.

Дорога круто шла вверх, густо усыпанная опавшими листьями гранатовых деревьев. Потрескивали сучья под ногами Винченцо. Серебряная листва олив подернулась сверкающим золотом, а кудрявые склоны гор, поросшие темной бархатной зеленью, теряли летнюю пышность и все больше вспыхивали осенним румянцем. Далеко вверху возвышались подернутые лиловой дымкой гордые кроны пихт и сосен. Приближался вечер, и солнце розовело, как цветки абрикоса, окрашивая небо из нежно-сапфирового в опалово-огненный цвет.

– Винчи, если ты станешь работать в каррарских рудниках, ты дашь мне хоть одним глазком на них взглянуть? – спросила я весело. – А то я никогда не бывала нигде, кроме нашей деревни!

Я болтала без умолку, не замечая, что дрыгаю ногами и чувствительно бью башмаками Винченцо по груди.

– Если ты будешь расти побыстрее, Ритта, то да.

– Но я и так уже не маленькая... А следующей весной мне будет уже восемь.

Винченцо улыбнулся.

– Вот тогда я и повезу тебя в Каррару... Но сперва мне надо самому туда устроиться.

– А почему тебе не нравилось работать у синьора Чьeko?

– Как тебе сказать, Ритта... Я думаю, что всегда буду у него только подмастерьем.

Мы подошли к развилке, и Винченцо опустил меня на землю. Слева чернел большой трухлявый крест, вытесанный в незапамятные времена и вместо фигуры Христа увенчанный петухом – тем самым, что прокричал в ночи, когда Петр в третий раз отрекся от своего учителя.

– Все, Ритта, возвращайся домой, – сказал Винченцо. – Дальше тебе незачем идти. Уже поздно, а в горах темнеет быстрее.

Он поцеловал меня в обе щеки и, засунув руки в карманы куртки, пошел дальше. Я испугалась, увидев, какой он выбрал путь.

– Винчи! Винчи! – закричала я. – Почему ты идешь в горы?

– Потому что так быстрее, – сказал он, оборачиваясь.

– Но ведь ты пообещал Антонио, что...

– Т-с-с! – Он шутливо приложил палец к губам. – Пообещал, чтобы его успокоить. Ну, Ритта, подумай сама: зачем мне тратить лишний час, если я могу добраться к дому Эдмондо побыстрее? Беги домой и никому не говори об этом, чтобы не волновались. Все будет хорошо. Ну, беги!

Он ласково улыбнулся мне и пошел дальше.

Я стояла в нерешительности. Сумерки все сгущались, и осенние склоны гор казались мрачными. Лиловая дымка, окутывающая пихты, исчезла, слившись с черным крылом ночи, уже прорезавшим небо. Меня терзала тревога. Я знала, что Винченцо меня не послушает...

Меня пронзила внезапная мысль: нужно сейчас же рассказать все Антонио! Сейчас же, как можно быстрее!

Встревоженная, я стремглав помчалась назад, домой, позабыв и о баштане, и о вкусных арбузах, которые сейчас, наверно, никто не охраняет. Ярко-рубиновое солнце тонуло за горами, стелилось по кронам последним огненным светом...

Ни один человек не встретился мне на пути, дорога была тиха и безлюдна, и это навевало мрачные мысли. Ни одной повозки, ни одного мула... А ветер все усиливался, обещая дождь и хмурую воробьиную ночь...

Чтобы легче было бежать, я сбросила башмаки. Земля была уже холодная, и ноги у меня заledenели. Несмотря на поспешность, я прибежала домой тогда, когда на небе уже засияли первые слабые звезды.

Я задыхалась, не в силах произнести ни слова.

– Что такое? – спросила Нунча хмурясь. – За тобой словно все деревенские собаки гнались!

Я прижала руки к груди:

– Антонио... Винченцо... пошел... через горы! – выдохнула я ужасным шепотом.

Глаза Антонио блеснули. Он схватил меня за руку.

– Ты точно это знаешь, Ритта?

– Я видела, как... он пошел... Я ему говорила. Он не послушал меня...

Какое-то мгновение тишина стояла в доме. Антонио, как тигр, бросился к стене и сорвал с нее лупару. В одной рубашке, с яростными криками он выскочил во двор. В гнетущем молчании мы слышали, как стукнула калитка.

Подбородок у Нунчи дрожал мелко-мелко, словно она собиралась плакать. Смуглое лицо Луиджи побелело так, что в полумраке казалось бледным пятном. Слепой Джакомо дрожащей рукой ощупывал стену, словно потерял всякую способность к ориентации. Я подошла к нему, взяла за руку и усадила на стул.

– Что же будет? – раздался звонкий голос Розарио.

Мы молчали, ошеломленные происшедшим. Нунча не спеша зажгла лампу.

– Ну, что ж теперь будет, – сказала она безучастно, – теперь их уже не остановишь. Надо молиться мадонне, она спасет их.

У нас, в прибрежных тосканских селениях, существовал культ Божьей матери. Она понятнее, ближе Бога, добрее и милосердней, она – сама мать. Мадонна не умеет карать, она только прощает и спасает. Ей дороги все люди, даже самые скверные, она сеет мир и счастье. И молиться следует прежде всего мадонне...

– Богородице, дево, радуйся... Благословенна ты в женах... И благословен плод чрева твоего...

Хриплые отрывки Нунчиной молитвы едва долетали до наших ушей. Мы сидели молча, и ни один из нас не присоединился к ней. Ночь все сгущалась, и тишина казалась все тягостнее. Казалось, сегодня и не праздник вовсе, так мрачно притихли в этот вечер все деревенские корте.

– Слышите? – проговорил Джакомо. – Шаги...

Слепой юноша обладал очень тонким слухом, угадывая звуки тогда, когда ни один из нас не мог ничего услышать.

Медленно текло время. С того момента, как ушел Антонио, прошло не меньше полутора часов. Внезапно стукнула калитка. И теперь мы уже явственно слышали чьи-то шаги во дворе.

– Это Антонио, – хриплым голосом сказал Луиджи.

Дверь со скрипом распахнулась, и на пороге появился Антонио – с дикими глазами, взлохмаченный, в разорванной рубашке, с лупарой в правой руке и мрачный, как туча.

– Луиджи, – сказал он прерывисто, не глядя ни на кого из нас, – иди помоги мне. Я нашел его.

Никто из нас не понял, кого именно. Луиджи поспешно вышел вслед за Антонио. Скверное предчувствие завладело всеми. Я еще ничего не знала, но на глаза мне навернулись слезы от страха и непонятной боли. Я слетела со стула, бросилась к двери и, столкнувшись с братьями, закричала.

Антонио и Луиджи внесли в кухню Винченцо. Голова его была запрокинута назад, и длинный русый чуб касался пола. Лицо сделалось восковым и прозрачным, в нем не было ни кровинки. Черные глаза были широко раскрыты и так застыли в немом удивлении, остекленели и потускнели. На лице замерло странное выражение неожиданности, захваченности врасплох, и вместе с тем в этом выражении не было ничего горестного, предсмертного, мученического. Винченцо будто спал.

– Он убит? – хрипло спросила Нунча и сама тут же поняла, что ответа не нужно.

Белая как мел, она поднялась и расправила плечи. Сухим блеском сверкнули ее черные глаза.

– Кладите его туда, – приказала она хрипло, но четко. Винченцо положили на скамью. Свет лампы осветил тело, и я зажала себе рот рукой, сдерживая крик. Ужасные алые пятна на груди Винченцо сливались в одно, белая рубашка намочила от крови. Шея тоже была окровавлена. Обе руки свесились вниз и бессильно касались пола.

– Я насчитал пять ран, – раздался прерывистый голос Антонио, – три пули в груди, одна в плече и одна в шее.

– Где это произошло? – тихо спросила Нунча.

– Не знаю. Его тащили по земле. Я нашел Винчи в кустах можжевельника. В него стреляли из лупары, из-за угла...

Я созерцала все это и не знала, что ужаснее: вид убитого Винченцо или лицо Антонио. Его глаза вдруг потеряли всякое человеческое выражение, они были сухи, черны, как ночь, и пылали зловещим дьявольским огнем.

– Они имели в виду меня, – его голос, в отличие от лица, был ровен, и, лишь прислушавшись, можно было угадать клокотавший в нем гнев, – для того они и прислали Джино. Я должен был быть на месте Винчи... Они ошиблись, черт возьми, и будь я проклят, если не заставлю их понять, как они ошиблись.

– Ты знаешь, кто это сделал? – все так же тихо проговорила Нунча. Подбородок у нее дрожал, но она довольно спокойно закрыла глаза Винченцо.

– Братья Сантони.

– Ты уверен?

Злорадная усмешка искривила губы Антонио.

– Я кое-что нашел там.

Он протянул Нунче на ладони красную бумажную розетку. Старуха отвернулась. Теперь все было ясно. Такие розетки очень любил прикалывать к шляпам Антеноре Сантони.

Антонио повесил лупару на стену и принялся рыться в буфете. Быстрыми, четкими движениями он бросил в котомку сало, полкруга моцареллы... Нерешительно взглянул на желтое блюдо с каштанами, которые утром испек Винченцо; потом ссыпал половину в котомку и отрезал большую краюху хлеба.

– Что ты хочешь делать? – слабым голосом спросила Нунча.

– То, что я должен.

Ножом, которым только что резал хлеб, он полоснул себя по большому пальцу. Выступила кровь, и от ее вида на губах Антонио появилась недобрая, леденящая душу усмешка.

– Хорош... – проговорил он, усмехаясь и засовывая нож за пояс. – Дай-ка мне денег, старуха.

Нунча молча открыла сундук и протянула Антонио несколько монет:

– Бери и спрячь за пазуху...

Я смотрела на все эти приготовления и дрожала как в лихорадке. Поначалу меня душили слезы, и я зажимала рот подолом юбочки, чтобы не всхлипывать. Потом меня сковал страх и чувство неотвратимости, неумолимости несчастья, которое отныне поселится у нас в доме. Меня словно окатило ледяной волной, я вся сжалась, замерла и лишь лихорадочной дрожи умерить не могла.

Нунча, в первый раз всхлипнув, прижала голову Антонио к груди так неистово, словно чувствовала, что прощается с ним навсегда, потом резко отстранилась и перекрестила внука.

– Да хранит тебя мадонна, Антонио, мальчик мой дорогой, – проговорила она, и это были первые ласковые слова, которые я услышала из ее уст. – Иди с Богом, Антонетто, и помни о нас.

Он обнял Джакомо.

– Ты идешь убивать? – спросил слепой, проводя рукой по лицу брата.

– Я иду мстить, Джакомино, мстить за нашего Винчи.

– Одна смерть тянет за собой другую...

– Таков закон вендетты. Я бы презирал себя, если бы поступил иначе.

– Я люблю тебя, Антонио, и хочу, чтобы ты остался жив.

В красивых темных глазах Джакомо блеснули слезы... Он взволнованно и порывисто подался вперед и с силой, которой никто от него не ожидал, снова обнял Антонио.

– Будь счастлив, брат.

Луиджи изо всех сил пытался сдержать слезы, что дрожали у него на ресницах. Антонио положил ему руку на плечо.

– Тебе нельзя раскисать, – сказал он сурово. – Ты самый старший теперь, Луиджи, тебе скоро тринадцать. Ты должен оберегать своих братьев и сестру лучше, чем это сделали бы я и Винчи.

Луиджи закусил губу.

– Я могу пойти с тобой, Антонио.

– Нет, это было бы нечестно, Луиджино. Оставайся здесь. Он назвал его ласково – Луиджино, и Луиджи, не выдержав, уткнулся лицом в грудь брата, захлебываясь от рыданий. Он что-то говорил, но голос у него дрожал, и разобрать сказанное было трудно. Антонио мягко отстранил его от себя.

– Ты запомнил то, что я сказал тебе?

– Да...

– Береги Ритту, Луиджино.

Розарио, хоть и был младше Луиджи на три года, казался спокойнее, но был очень бледен.

– Если хочешь, я предупрежу Аполлонию, – прошептал он, – мне это нетрудно... Я могу носить тебе еду, если ты скажешь, где будешь скрываться...

– Спасибо, Розарино, за Аполлонию. Вот только еды мне не нужно... Сантони богаты, они поставят на ноги всех жандармов Тосканы, от Флоренции до Ливорно. Будет жаль, если тебя тоже подстрелят.

Он подхватил меня на руки и расцеловал, стараясь улыбнуться.

– Не трусь, Ритта! Я-то думал, ты самая смелая в нашей семье. Подумать только, если бы ты не рассказала о том, что Винчи пошел другой дорогой, мы бы до сих пор ничего о нем не знали...

Он скрипнул зубами.

– Антонио, не бросай нас! – воскликнула я со слезами, сама не понимая, что происходит. – Нунча одна, она уже старая. Кто же будет нас защищать? Луиджи еще маленький и плакса!

Антонио старался не смотреть на меня.

– Ты сама плакса. Ну-ка, не хнычь! – Он вытер мои слезы. – Будь хорошей девочкой и расти побыстрее. Пока что ты мало чего понимаешь.

Он еще раз обнял Нунчу и, оставив меня, хлопнул дверью. Нунча шумно вздохнула и, словно в замешательстве проведя рукой по лбу, принялась хлопотать над Винченцо. Розарино был послан за старой Кончеттой...

Ночь миновала во вздохах, сдерживаемых слезами и аханьях. Нас не пускали на кухню. Мы сидели молча во мраке комнаты и слышали доносящиеся из-за двери звон посуды и шорох ног. Нунча была бледна и медленнее двигалась. Мы ожидали от нее слез и причитаний, а она поразила нас твердостью и сдержанностью. И в этом ее скорбном спокойствии мы черпали уверенность, оно не давало нам ясно представить ту бездну, что неожиданно разверзлась перед нашей семьей, оставшейся вдруг без заработков и защитников.

Уже утром мы услышали стук тяжелых сапог на крыльце. Это были жандармы во главе с капралом.

– Где проживает Антонио Риджи? Отвечай, старуха! Нунча безучастно спросила, зачем это ее внук понадобился уважаемым синьорам.

– Антеноре Сантони найден с перерезанным горлом у дома своего отца, – сказал капрал. – У нас есть подозрение, что это сделал твой внук.

Мы молчали, затаив дыхание.

Несколько дней жандармы обшаривали окрестности. Говорили, что проверяют даже ливорнские суда, – у папаши Сантони хватило денег и на это. 1 ноября 1777 года, в день всех святых, прошел слух о том, что Антонио пойман, но это оказалось выдумкой. Мы жадно вслушивались во все сообщения о нем, так как сами никаких вестей не получали. Чуть позже стали говорить, что Антонио присоединился к банде Энрико Фесты, обосновавшейся высоко в горах. Брата искали еще два месяца, и все напрасно.

Антонио исчез, как в воду канул.

4

Наступила зима, а с ней и Рождество 1778 года. Как обычно, крестьяне тщательно готовились к празднику. Особенно много радости он приносил детям. Помимо полной свободы, которой они пользовались в эти дни, веселых зимних игр и сладких пирогов, приблизилось интереснейшее событие, происходящее в канун Рождества. В это время мадонна посылает на землю сказочную старушку Бефану. Ее приносят звезды. Сверкая, как комета, Бефана влетает в печные трубы или подъезжает к домам на волшебном ослике. Если с вечера подвесить к очагу детский чулок, утром там непременно окажется подарок от доброй Бефаны...

Все семьи, даже самые бедные, к Рождеству старались готовить что-то особенное, забывая на время о недостатке денег, дров и еды. Праздничными блюдами были бифштекс по-флорентийски, вареный рис с сушеным виноградом и горячая пицца с сыром и томатным соусом, не говоря уже о многочисленных пастах – маккароне и спагетти. Пили подогретое кьянти с

рассыпчатым печеньем, а для детей готовили сюрпризы: панджалло – нечто вроде кекса, начиненного изюмом и цукатами, терроне – изюм и сваренные в меду орешки, панеттоне – сладкий кулич...

На Рождество прощались со всем плохим, что было в минувшем году, и выбрасывали старые вещи прямо из окон. Впрочем, большинство крестьян соблюдало этот обычай чисто символически и выбрасывало из окон только совсем уж ненужные и негодные тряпки. Но для старьевщиков в эту ночь действительно было раздолье...

Зиму в прибрежной Тоскане не назовешь ни красивой, ни холодной. После Рождества дождь начинает лить не переставая, сыростью и влагой пропитываются стены домов, земля размокает, и к нашей трагедии почти перестают ездить мальпосты<sup>21</sup>. Когда ни взглянешь в окно, всегда по стеклу стекают мутные струйки воды, капли дрожат в холодно-влажном воздухе, а вокруг серо и пасмурно. Фисташково-зеленый убор кипарисов жухнет и бледнеет, а бирюзовое пронзительно-синее небо затягивается серыми мрачными тучами, тяжелыми от дождей и гроз. Туман все сгущается, окутывает голые стволы деревьев, размывает очертания домов, а бурлящее море так сливается с этой густой туманной пеленой, что его не видно даже с гор. Дует сильный холодный ветер, волны вспениваются, вздымают грязно-белые гребни и с яростным шумом хлещут о скалы...

В такую непогоду лишь редкие рыбаки решаются выйти в море, и такой поступок словно созвучен девизу: *Ave, mare, morituri le salutant*<sup>22</sup>!

От непрерывных дождей реки, а особенно Магра с ее притоками, вздуваются, набухают, выходят из берегов и, наконец, вода заливают все вокруг, губит не только виноградники, но и ризайи<sup>23</sup>, уничтожает дома, рвет плотины, сносит мосты и подбирается даже к нашей деревушке, расположенной у подножия гор.

Зима в Тоскане – невеселый и неприятный сезон, который словно стирает на время нежные очертания того розово-персикового края, каким привыкли считать Тоскану путешественники, посещающие ее летом. Если бы не традиционный февральский карнавал, объединяющий Тоскану с Лацио и Сардинией, Лигурией и Этрурией и всей прочей Италией, и не щедрый зимний урожай золотисто-сладких апельсинов, лимонов и мандаринов, зиму вообще не стоило бы вспоминать добрым словом.

Для нас эта зима была особенно тяжелой.

После гибели Винченцо и исчезновения Антонио наша семья разом лишилась основного источника существования. На нас теперь никто не зарабатывал, нам не на что было купить ни хлеба, ни угля. Нунча, прежде надежды возлагавшая на своих старших и сильных внуков, теперь снова вынуждена была взять бремя забот на себя. Мы были еще слишком малы, чтобы зарабатывать... Внешне она ничем не выдавала своих чувств, и лишь прибавилось морщин у нее на лице да глаза стали чернее, чем прежде. Она сделалась еще суровее и грубее. К тому же после похорон Винченцо она стала болеть, утром едва поднималась с постели и долгое время после этого не чувствовала ни рук, ни ног, лицо ее стало рыхлым и отекившим, как сырое тесто, и двигалась она очень медленно. Она уже не обращала ни малейшего внимания на свой внешний вид, один передник носила по нескольку месяцев, пока он не становился черным, не меняла чепцов и частенько даже не умывалась. На сретенье 1778 года ей исполнилось восемьдесят лет.

Впрочем, не только заботы так изменили Нунчу. Несмотря на ее внешнее спокойствие, мы знали, что она любила Винченцо, пожалуй, даже больше, чем всех остальных. Она тщательно штопала ему одежду, чаще любовалась им... Ее любовь не была обидна для всех остальных, не была она и слишком нежной. Но глаза Нунчи теплели, а брови чаще разглаживались,

---

<sup>21</sup> Мальпост – почтовая карета.

<sup>22</sup> Привет тебе, море, идущие на смерть приветствуют тебя (лат.)

<sup>23</sup> Ризайи – рисовые поля.

когда она смотрела на Винчи. Она мечтала о том, как он женится и разбогатеет, как, наконец, у него появятся дети, ее правнуки, и надеялась дожить до этого часа. И вот Винченцо убит... Осталось только поражаться силе воли и самообладанию этой старой, потрепанной жизнью женщины.

В конце января, в воскресенье, Нунча увела Джакомо, Луиджи и Розарио в церковь. Джакомо часто помогал отцу Филиппо во время утренней мессы: все молитвы, обряды и псалмы он знал почти наизусть, не в пример мне. Я в тот день сильно кашляла, и Нунча, напоив меня горячим чаем, позволила мне остаться дома. Впрочем, я не знала, где было холоднее: дома или на улице. Дрожа от холода, я сидела у застывшего очага – дрова и уголь мы теперь экономим – и, пытаясь сохранить остатки тепла, куталась в старый дырявый платок. От скуки я зевала до слез, и эти слезы едва не замерзли у меня на щеках... Клонило ко сну. Я пыталась представить себе каждый шаг Нунчи и братьев: вот они пришли на деревенскую площадь, вот переступили порог церкви, вот выстроились в очереди в исповедальню, а вот непоседа Луиджи корчит гримасы из-за спины Нунчи, а Розарио давится от смеха и замирает, как статуя, при сердитом взгляде старого падре...

– Потом мне вспомнился Винченцо. Если бы он был жив, он бы никогда не оставил меня одну. Он всегда был добр, заботился и любил меня. Я проглотила комочек слез, подступивших к горлу. Как хорошо было, когда он сажал меня на плечи. Или когда приносил изюм и орехи... Винченцо говорил, что я красивая и, когда вырасту, стану еще лучше. Теперь мне уже никто такого не скажет!

– Чего задумалась, Ритта?

Я вздрогнула. Это был голос Антонио, который я не слышала вот уже три месяца. Я улыбнулась сквозь слезы, но была такая замерзшая, что не могла броситься ему на шею.

– Антонио! Как ты вошел сюда?

– Нунча становится совсем старой, малышка, ей только кажется, что она запирает дверь.

Бережно и осторожно он поднял меня со стула и тщательно закутал мои ноги в свою теплую куртку. Сам он был весь красный и замерзший, но казался очень возбужденным и разговаривал приветливо.

– Ах ты крошка... Да ты совсем закоченела.

Я прижалась лицом к его груди, с удовольствием чувствуя, что мне уже не так холодно. Он укачивал меня, как младенца перед сном, и смотрел на меня с ласковой улыбкой.

– Как хорошо, Антонио, что ты пришел, – прошептала я. Он, не ответив, усадил меня на стул и разгреб жар в очаге.

Брошенные поленья запольхали так жарко, что я обомлела от такого потока теплого воздуха. Антонио бросился в соседнюю комнату и, принеся в кухню брачьери, досыпал туда целый ковш древесного угля. Я запротестовала:

– Не делай этого, Антонио, у нас нет больше дров!

– У вас будут и дрова, и уголь, Ритта.

Он вытащил из кармана увесистый мешочек и швырнул его на стол.

– Здесь деньги, Ритта.

– Золотые? – поражено спросила я.

– Такие, какие нужно. Их хватит на несколько месяцев.

– Ох, Нунча будет очень рада... Он вздохнул, глядя меня по голове.

– Жаль, что я не смогу с ней проститься.

– Разве ты уезжаешь?

– Да...

– А где ты взял денег? – спросила я, не слишком обеспокоенная известием об отъезде брата. Я знала, что временно ему нужно скрываться. – Так где же ты достал денег, Антонио?

– У Энрико Фесты, сестренка. Мои глаза сделались круглыми.

– Так ты все-таки был у него?

– Все эти дни, Ритта. И заработал немало денег... Два дня назад нас разгромили солдаты. Феста получил пулю в лоб. А я скрылся... Мне нужно бежать, малышка.

Я готова была расплакаться. Антонио, не замечая слез, дрожавших у меня на ресницах, распахнул дверцу буфета и сунул в карман кусок сыра рикотто и краюху хлеба, объяснив это тем, что несколько дней ему лучше не попадаться на глаза лавочникам.

– Я хочу, чтобы вы жили хорошо, Ритта, – сказал он, направляясь к дверям. Он действительно очень спешил.

– Ты уже уходишь, Антонио?

– Да, сестренка.

– А как же Аполлония? Ты слышал, что она пропала? Брат усмехнулся.

– Аполлония едет со мной, малышка. Она ждет меня в порту Ливорно.

– Так это она с тобой сбежала?! – воскликнула я изумленно.

О, теперь я знала столько тайн, как никто в деревне! И как будут удивлены Нунча и братья, когда я расскажу им все это!

Антонио весело подмигнул мне и распахнул дверь. Холодный воздух повалил в дом. Я задрожала и живо слезла со стула.

– Можно я провожу тебя, Антонио?

– Можно, только оденься.

Я натянула на голову платок, закуталась в одеяло и, сунув ноги в сабо<sup>24</sup>, побежала вслед за братом.

Мы остановились на пустыре за деревней. Антонио явно нервничал, но сдерживался и только время от времени трогал большой кинжал за поясом.

– Ты скоро вернешься?

Он, присвистнув, покачал головой и ласково прикоснулся к моей щеке.

– Я уезжаю очень далеко, Ритта, в Америку. Оттуда редко возвращаются. Быть может, мы и не увидимся больше.

– Даже так? Разве Америка дальше Флоренции?

– Гораздо дальше, сестренка.

Я подняла к нему обиженное лицо. Он посерьезнел, нахмурился, словно от боли, и поднял меня на руки.

– Уезжаю, потому что так нужно, Ритта. Я люблю тебя, малышка, и мне жаль, что ты останешься здесь без меня. Но я вернусь, я постараюсь вернуться... потому что я люблю всех вас. И Нунчу, и Джакомо, и Луиджи с Розарио... Вы самые дорогие для меня. Я не знаю, как буду жить без вас. Но я не жалею о том, что сделал.

Он порылся в карманах и дал мне две монеты.

– Возьми. На одну купишь себе орехов, а на другую поставишь свечку Винченцо. От меня.

Я зажала деньги в кулачке.

– Ты помнишь Винченцо? – тихо спросил он.

– Да, – прошептала я. – Я очень его любила.

– Он был настоящим мужчиной, правда? – глухим сдавленным голосом произнес Антонио. – Я должен был отомстить за него. Винченцо стоил того. Он знал, что такое честь. Ты должна помнить его, Ритта. Он был очень хороший, наш Винчи, его все любили...

– А как же мама, Антонио? – спросила я.

Его лицо странно дернулось, как от внезапной боли.

– Что мама... Разве у нас была когда-нибудь мать?

---

<sup>24</sup> Сабо – грубые деревянные башмаки.

– И ты с ней не попраешься? Он попытался улыбнуться.

– Знаешь, где я ее в последний раз видел? С каким-то щеголем в карете в Пизе. Она даже не кивнула мне. Словно не заметила.

Он замолчал, будто ему не давали говорить спазмы в горле.

– Она, наверно, не увидела тебя, – сказала я. Антонио недовольно двинул плечом.

– Не хочу больше говорить об этом.

Я опустила голову. Брат держал мою руку в своей, большой и горячей, и отогревал ее дыханием.

– Если б ты знала, Ритта, как мне жаль всех вас!

У меня мороз по коже пробежал от этих слов. Я всхлипнула.

– Не думайте, что я вас предал. Так уж получилось. Я постарался раздобыть для вас денег, чтоб вы не очень бедствовали. И еще я боюсь за нашего Луиджи... Как бы этим подонкам Сантони не вздумалось убрать его вслед за Винчи. Но тогда, – его глаза хищно сверкнули, – я приеду даже из Америки! Будем надеяться, что у Сантони хватит совести не трогать мальчишку... А я буду писать вам, если это получится. Правда, я не ахти какой писака.

Я обняла его за шею и прошептала:

– Милый, милый Антонио! Ну зачем ты уходишь? Оставайся с нами!

Его дыхание было тяжелым и взволнованным.

– Я бы рад остаться... Думаешь, мне охота ехать? Но здесь меня ждет или пуля, или виселица. Недаром меня прозвали висельником... Говорят, в Америке мало людей, – так, может, найдется место и для меня.

Я расплакалась от отчаяния.

– Как бы я хотел помочь вам, – прошептал он, судорожно прижимая меня к себе, – особенно тебе, Ритта. Да что я могу? Я всего лишь нищий и бродяга. Ну, будет тебе! Нечего плакать над тем, что одним лаццароне в Тоскане станет меньше...

Он начал разнимать мои руки, сомкнувшиеся вокруг его шеи.

Все его тело колотила дрожь.

– Не уходи, Антонио! – закричала я, захлебываясь слезами.

Он наклонился, торопливо, как вор, поцеловал меня, и мне показалось, что в его глазах, всегда таких колючих и сухих, блеснули слезы...

Может, это только показалось.

Антонио быстрым размашистым шагом удалялся от меня, и вскоре его высокая фигура скрылась в туманной мгле...

## 5

После отъезда Антонио Луиджи совсем распустился, и с ним уже никто не мог сладить. Ему шел четырнадцатый год, и он был высок не по возрасту. Следуя своим давнишним обещаниям, в феврале 1778 года он бросил школу фра Габриэле и в компании подобных себе лодырей гулял по окрестностям. Некоторое время он переписывал бумаги у мельника Клориндо Токки, но продолжалось это не более недели. Луиджи сбежал оттуда. Его чудесный почерк уже никому не был нужен. Никто не хотел брать на работу Луиджи, так как после побега от синьора Токки брата считали нахалом... У нас в деревне не любили дерзких...

Совершенно неожиданно у Луиджи проявилась страсть к воровству, чему он научил и своих дружков. Брата ни разу не поймали за руку, но лавочники уже посматривали на него с опаской. Было замечено, что с появлением Луиджи пропадают сдобные булки и прочая снедь. Его преступления порой были и вовсе бессмысленными: с друзьями Луиджи пробирался на мельницу, вспарывал мешки с мукой, развеивал ее в воздухе и возвращался домой весь белый, как привидение. Нунча видела все это, но была странно безразлична. Иногда она не вспоминала о Луиджи целыми днями. Впрочем, и он сам теперь частенько не являлся ночевать. Одежда его стала грязной и рваной, из башмаков торчали голые пальцы... Время от времени я

брала нитку с иглой и пыталась исправить это безобразие. Но подобное занятие не доставляло мне удовольствия, и я бралась за него нечасто.

У Луиджи возникла еще одна мания – во всем походить на Антонио. Он начал курить трубку, перенял даже характерные жесты старшего брата и, подобно ему, ворошил пятерней волосы. Ему хотелось говорить грубо и отрывисто, и он отчаянно ломал голос. Особенно Луиджи стремился к тому, чтобы все отзывались о нем так, как говорили об Антонио, и когда старый Джорджио Саэтта назвал его «висельником», Луиджи, утратив всю свою притворную взрослость, едва не запрыгал на одной ноге. Словом, защитника из него не получилось. Зато он с успехом увеличивал дурную славу нашей семьи. Друзьями Луиджи были только самые отчаянные сорванцы, вместе с которыми он избивал детей из богатых семей и, случалось, даже Джованну Джимелли.

– Зачем ты это сделал? – спросила я.

– Я мщу за тебя! – гордо ответил он. – Она тебя ненавидит.

Вскоре после этого под глазом у Луиджи появился кровоподтек, поставленный кузеном Джованни Чиро Сантони.

Он пытался увлечь в свою компанию Розарио, но тот был слишком ленив и столь бурным похождениям предпочитал более спокойные. К тому же Нунча, посчитав безделье Розарио просто невыносимым, отдала его на службу в трактир дядюшки Джепетто.

Нунча часто говорила, что Луиджи заслуживает порки, и однажды едва ему ее не устроила. Старуху подвели ноги. Тогда она стала посылать за крестным Луиджи, дядюшкой Агатиной Сангали, но все эти усилия были как о стенку горох. Луиджи не изменил своего поведения.

Всем своим видом он будто посылал вызов окружающим. Ходил он вразвалку, сквернословил и дрался с необычайным остервенением, подбрасывал ногой камни или песок, жевал табак, громко плевался и всегда держал руки в карманах.

– Если бы Антонио вернулся, – сказала я как-то вечером, – он бы устроил тебе трепку. Ты что, думаешь, ты похож на него?

– Еще бы! Пройдет года два и...

– Да ты совсем на него не похож! Антонио был сильный и уверенный. А ты... Ты так и остался плаксой, хоть теперь этого и не показываешь...

Луиджи смутился. Надо сказать, несмотря на свою полубандитскую жизнь, он оставался добрым. Я никогда не слышала от него плохого слова и не верила, когда моего брата, который, по-моему, и мухи не мог обидеть, честили висельником и негодяем. «Этот мерзавец кончит жизнь на виселице, – говорил Клориндо Токки, – и ни в чем на свете я не был так уверен, как в этом».

Я обняла Луиджи за шею.

– Почему ты не захотел учиться, Луиджино? Нунча говорит, что у тебя есть кое-что в голове. Ты бы мог стать адвокатом!

Он отмахнулся.

– Вот чушь какая! Ты просто очень маленькая и ничего не понимаешь.

– А Винчи хотел, чтоб ты учился... Он говорил, что ты все можешь, если захочешь.

– Теперь все изменилось. – Он хвастливо задрал голову. – Теперь мне не на кого надеяться, да и вам тоже.

– Пусть я очень маленькая, но ты очень глупый, Луиджино. Он часто похвалялся, что уедет, как Антонио, в Америку и этим, наверно, накликал на наш дом новую беду. Это случилось в самый разгар традиционного праздника карнавала. В доме было тихо и уютно. Нунча заметно поздоровела и относилась к нам с большим вниманием. Ее глаза уже не блуждали бесцельно и равнодушно по стенам, голос смягчился, а машинальные движения рук, безразлично выполнявших какую-либо работу, стали более целенаправленными. Она, как всегда, принялась браниться и затихла только к вечеру; но этому потоку гнева мы были только рады – он успока-

ивал нас, показывая, что Нунча остается такой, как прежде. Вечером она начала хвалить Джакомо за ум и трудолюбие, жалела за его слепоту, говорила о его красоте и все время называла его ласкательно – Джакомино.

Вечер был прекрасен, и на словно вымытом, темно-синем небе тихо мерцали звезды. Засыпали мокрые от дождя кусты самшита, качались ветви кизилевых деревьев в саду и тихо бились каплями в окно. Под ногами Нунчи слегка поскрипывали половицы. Джакомо рассказывал мне сказки о венецианских дожах, и я почти забыла о том, что у меня в кровь исколоты веретенном пальцы, а нитки предстоит еще прясть и прясть.

Луиджи ворвался в этот уютный мирок неожиданно и с криком. Он был без беретто, и волосы у него на голове стояли дыбом. От виска к левому уху стекала тонкая струйка крови. Черные глаза подростка были дики и полны ужаса. Он не говорил, а что-то хрипел.

– Они... там... меня... я знал, что... так надо...

Из этих обрывков фраз трудно было что-то понять, но в том, что произошло нехорошее, не сомневался уже никто.

Нунча ступила шаг вперед и схватила Луиджи за плечи.

– Что ты бормочешь? Язык у тебя еще не отвалился! – Она встряхнула его так, что с его плеч упала на пол куртка. Луиджи полным отчаяния жестом указывал на кровь у него на лице.

Нунча наклонила голову и некоторое время вглядывалась в лицо Луиджи, близоруко щурясь.

– Похоже, это след от пули, – сказала она вдруг. – Кто-то целился, чтобы убить, но сумел лишь царапнуть. Ну, что же ты молчишь, болван? Или говори, или уходи, если у тебя заплетается язык!

Луиджи всхлипнул, размазывая слезы по щекам.

– Я убежал, – сообщил он невнятно, – я успел... я их заметил. О, они... хотели... убить меня, я это знаю.

Луиджи кивал головой и трясся, как в лихорадке.

– Мне кажется, – сказал он после некоторого молчания, – что мне надо убираться отсюда.

– Хочешь дать стрекача? – спросила Нунча. – Куда?

– Во Флоренцию.

– Ты еще слишком мал для этого.

– Они все равно убьют меня, я знаю. Я дразнил их. Нунча, пожав плечами, принялась складывать в котомку продукты.

– Я сейчас же уйду, – сказал Луиджи. – У меня зуб на зуб не попадает. Я не могу здесь сидеть, я не выдержу.

Я смотрела попеременно то на Нунчу, то на брата. Мне почему-то не было жалко Луиджи. Если уж он так испортился, может, ему действительно будет лучше во Флоренции. В том, что с ним ничего не случится, я не сомневалась. За последние месяцы он сделался таким пронырой и мошенником, что мог обвести вокруг пальца кого угодно.

– Отдай нам свои сокровища, – попросила я. – Ну пожалуйста! Тебе они уже не нужны.

Нунча прикрикнула на меня, что в такой момент я могу думать о всяких глупостях, однако Луиджи счел мое предложение резонным. Шмыгнув носом и вытерев рукавом лицо, он отправился в сад. У Луиджи было много сокровищ, которые он держал в ящике под амбаром и показывал нам только по большим праздникам. У него всегда были запасы сахара – пять-шесть желтоватых влажных кусков, завернутых в бумажку, рождественская лубочная картинка, новый, еще пахнущий краской тресник, украденный из книжной лавки, засушенный букетик гвоздик и огромный заржавленный охотничий нож.

Луиджи вернулся, водрузил ящик на стол. Глаза у него все еще были на мокром месте, но мы видели, что он весьма рад возможности убежать из деревни побыстрее. Нунча ничего не говорила, и в доме слышалось лишь ее тяжелое с присвистом дыхание.

Мы долго спорили о том, что кому достанется, и я в этом споре, наверно, была бойчее всех. Джакомо молчал, грустно улыбаясь, а Розарио хоть и пытался требовать что-то себе, но чаще ограничивался лишь недовольным сопением. Ох, как не похожи были эти мои братья на двух других, которых мы недавно лишились и которые всегда казались мне каменной стеной!

В конце концов Джакомо получил рождественскую картинку, Розарио гвоздики, а я – самое драгоценное: шесть кусков сахара, которые, однако, мне пришлось разделить между братьями. Себе Луиджи оставил требник, предполагая, видимо, сбыть его с рук, и заржавленный охотничий нож.

– К Пасхе я вернусь, – пообещал брат.

Он ушел, не взяв больше ничего и забросив котомку на плечи. Его уход не переживался так болезненно, как смерть Винченцо или отъезд Антонио. То ли такие события стали слишком часты, то ли потеря Луиджи не особенно ощущалась, но все мы не особенно переживали. И лишь в глазах Джакомо стояли слезы.

– Теперь они примутся за меня, – понуро сказал Розарио. – Это уж точно. Джакомо они не тронут, зато до меня доберутся. Видно, мне тоже придется сверкнуть пятками.

Нунча, доселе молчавшая и с усталым равнодушным видом сидевшая у стены, вдруг встрепенулась.

– Нет, будь спокоен, на тебя они не обратят внимания. Им хватит трех моих внуков. Сантони прекрасно знают, что хватят через край, тронув тебя. Ведь тогда это была бы уже не вендетта, а убийство.

Джакомо нетерпеливо пожал плечами, словно хотел что-то возразить, но промолчал. Нунча говорила так, будто все, что произошло раньше, было справедливо, и лишь с Розарио начнется настоящее преступление. Возможно, так считали все в деревне. Но нам привыкнуть к мысли о справедливости и закономерности происшедшего было очень трудно.

Луиджи обещал вернуться к Пасхе, но, разумеется, не вернулся. Он был во Флоренции, но наша мать ничего не знала о нем. Этот чудесный город проглотил Луиджи, как и многих других, ему подобных.

Ходили слухи, что он служит переписчиком у какого-то торговца...

6

К весне мы совсем разорились. Денег у нас не стало, и жили мы преимущественно с того, что давали сад и огород. Этого редко когда хватало на пропитание. Хлеба купить было не на что, и мука вся кончилась. Украшением стола стала считаться даже обычная для всех полента. Чаще всего Нунча ставила на стол салат, бобы, брюкву и виноград. В огороде зрели томаты, но не из чего было приготовить вкусную пиццу. Мы кое-как перебивались, потому что Розарио служил в трактире. Да еще выручали заказы на пряжу, которые давали нам синьоры дель Катти. Но о будущем и помыслить было страшно. Нунча стала так стара, что не могла копаться в земле. Она распродала всю нашу живность, включая и всеобщую любимицу корову Дирче. Кур нечем было кормить. Они стали есть собственные яйца, и Нунча сочла невозможным держать в доме и птицу.

Когда пропал Луиджи, Нунча совсем состарилась и расхворалась. Она никому не жаловалась, но, идя по дому, не могла не остановиться передохнуть, а когда стояла, то шаталась и хваталась рукой за стену, чтобы не упасть. У нее болело сердце и ныла поясница, ноги не слушались. Черные глаза вваливались все больше и больше, морщины крепче въедались в ямы щек...

– Сколько тебе лет? – спросила я как-то.

Она долго шевелила губами, будто пересчитывала что-то, а потом прошептала:

– На сретенье восьмидесятый годок миновал... Помнится, мне эта цифра показалась столь ужасной, что я не могла произнести ни слова в ответ.

Наступила весна 1778 года, и в первых числах мая мне исполнилось восемь. Однажды вечером, когда я и Розарио увлеченно слушали рассказы Джакомо, ко мне, тяжело дыша, подошла Нунча и ласково погладила меня по голове. Я изумленно отстранилась. Ее ласка была столь редкой, что не удивиться ей было невозможно.

Кряхтя, она уселась рядом с нами.

– Завтра пойдешь в трактир вместе с Розарио, – сказала она тихо, закрывая глаза, словно в забытии. – Я договорилась с синьором Джепетто.

Я передернула плечами.

– Вот еще!

– Поболтай, поболтай, – грозно сказала Нунча, – я сейчас возьму веник да так тебе наподдам, что своих не узнаешь!

Я ловко соскочила со стула и, удалившись на расстояние, обеспечивающее мне безопасность, показала Нунче язык.

– Не пойду, если не скажешь почему, – ясно?

Нунча вздохнула: она знала, что ей меня не переупрямить. Теперь уже никто не хотел слушаться ее беспрекословно...

– Негодница, – она укоряюще покачала головой, – разве ты не знаешь, что Винчи умер, а Антонио уехал?

– Я не негодница, – сказала я, уже пристыженная, – я все знаю...

– Так на какие же деньги нам теперь жить?! – взорвалась она.

Джакомо внезапно поднялся с места и, вытянув руки, ступил несколько шагов вперед: он искал меня. Я подошла к нему и крепко обняла.

– Бабушка, – тихо сказал он, – пусть Ритта останется дома.

Нунча оглядела нас с таким видом, будто мы были сумасшедшие.

– Да ты рехнулся, Джакомо. – Она всплеснула руками. – Или, может, ты будешь зарабатывать на нас? А? Давно пора. Тебе девятнадцать лет, мой милый, а ты все бездельничаешь.

– Он же не может! – закричала я со слезами. – Не обижай Джакомо! Я люблю его больше всех, не надо его обижать!

– Помолчи, Ритта, – брат мягко прервал меня, – Нунча правильно говорит.

– Правильно? – тихо спросила я. – Но как же...

– Я решил уйти в Пизу, – сказал Джакомо, – говорят, там есть такой дом, где содержат всех слепых калек... Дом для бедных. Вы же не можете всю жизнь кормить меня. А Ритта еще такая маленькая. И так похудела за эту весну...

Я сурово сдвинула брови, крепко задумавшись. Мне представлялось очень странным и несправедливым то, что я буду вынуждена служить у других людей, слушать их приказания. Это будет, наверно, так скучно... Мне хотелось бегать, играть, быть беззаботной и легкомысленной. А с другой стороны: разве я могла позволить Джакомо уйти?

– Нет, – сказала я обреченно, – ты не должен уходить... Я так люблю твои сказки. Уж лучше я пойду к дядюшке Джепетто.

Так я поступила на службу в трактир «Прекрасная Филомена».

Мы с Розарио пришли туда рано утром. Брата послали на мельницу, а меня жена синьора Джепетто, краснощекая толстуха, усадила возле огромного ведра с картофелем и дала в руки нож. Неинтересное это было занятие...

Хозяева трактира, впрочем, были добрые люди. Я уже никогда не бывала голодна: они кормили меня и брата до отвала и разрешали брать немного еды домой. Дядюшка Джепетто, очень похожий на свою толстую супругу, жалел детей и никогда не перегружал их работой.

– Экая ты куколка, Ритта! – сказал он мне как-то. – Такая блондиночка не долго будет служить у меня... Тебе не дадут покоя, девчонка! Как знать, может быть, ты станешь маркизой, а то и контессой<sup>25</sup>! Заезжай тогда как-нибудь в мою тратторию!

Он, конечно, шутил, но слушать такие шутки мне было приятно. Словом, служба была не так уж трудна и скучна, как я предполагала. Какое-то время спустя мне уже нравилось вставать на заре, смотреть, как ночное небо начинает вспыхивать, переливаться всеми красками, словно рисунчатая яшма со сплетающимися узорами. Молочно-белые, как алебастр, туманы разгонялись просыпающимся солнцем, таяли и растворялись в утреннем воздухе уже где-то в горах, среди ярких цветов граната и зеленых пихт. Небо светлело, заливаясь сначала гиацинтовым золотисто-красным румянцем, потом окрашиваясь в нежнейшие тона – от розово-фиолетовых и дымчатых до сапфировых, пока не приобретало свой неповторимый великолепный оттенок бирюзы. Синева неизъяснимая, лучезарная, аквамариновая... Наконец наступало утро, все вокруг сверкало, как чаша с рубиновым вином, пронзенным ярким лучом солнца. И как чудесно было идти в тратторию босиком, мимо гордых эвкалиптов и пышных кедров, мимо остролистных агав, через ослепительно-алый маковый луг, чувствуя ступнями теплое дыхание земли и свежие брызги росы на стеблях...

В это время казалось невероятным, что среди такой красоты могут существовать и мрак, и горе, и даже голод... Природа отторгала эти прозаические бедствия, отраживалась от них стеной своего великолепия и величия. Но они оставались. Хотя в такое звонкое и росистое утро, напоенное запахами люцерны, цветов и свежескошенного сена, мало кто хотел об этом думать.

7

В траттории дядюшки Джепетто я прослужила недолго. В начале июля 1778 года, в полдень, когда все вокруг изнывало под лиловой дымкой зноя, умерла единственная наша защита. Умерла Нунча.

Еще задолго до этого она начала твердить, что вряд ли ей удастся пережить следующую зиму. У нас совсем не было денег, и зимой мы если не голодали бы, то наверняка бы замерзли. Но если Нунча и думала о смерти, то все же не ожидала ее так скоро. Лето было в разгаре. Сидеть бы на солнышке да греть свои старые кости...

Смерть Нунчи была тихой и безропотной. Еще вечером она, почувствовав, как холодеют у нее ноги, а тело почти не слушается, приказала Розарио позвать отца Филиппо. Как и полагается истинной христианке, она исповедалась и получила отпущение грехов, а в полдень следующего дня умерла.

Никто из нас не плакал. Мы с Розарио уже настолько привыкли к смертям и утратам, что вряд ли осознавали то, что случилось. Во всяком случае, ощущения огромного горя не было. Мне казалось странным, что эта большая грузная женщина, которая всегда была в этом доме хозяйкой, которая казалась мне более вечной и незыблемой, чем все остальное вокруг, и которую я помнила едва ли не с первых своих шагов, вдруг замолчала навсегда и уже никогда не крикнет на нас, не забранится, не схватится за веник... Я оглянулась на Джакомо: он не плакал, но был очень серьезен, лоб его прорезали морщины, и одна из них залегла между бровями. Он хмурился. Почему? Джакомо наверняка яснее нас осознавал ту пропасть, что перед нами разверзлась.

Пришла старая Кончетта, всегда помогавшая при похоронах, забрала половину наших небольших денег, спрятанных в сундуке, и с ее помощью Нунча была похоронена на деревенском кладбище. Ни Луиджи, ни мать при этом не присутствовали. Скромная могила Нунчи быстро заросла травой и золотыми цветками дрока.

---

<sup>25</sup> Контесса (итал.) – графиня.

Какой-то человек из нашей деревни, ехавший во Флоренцию, сообщил матери о смерти Нунчи, и она приехала – правда, уже через неделю после похорон, когда мы, подавленные и испуганные случившимся, сидели в опустевшем доме и думали, что же с нами будет: ведь на похороны Нунчи мы истратили почти все деньги, что у нас были.

Я первая заметила мать еще на дороге и поразилась. Никакой кареты и в помине не было, она шла пешком, как обыкновенная крестьянка, под палящим солнцем, в самый зной. А когда во дворе скрипнули ворота и мы бросились ей навстречу, никто из нас уже не мог узнать в матери ту женщину, что приезжала к нам прошлым летом...

Да, я не видела ее только год, а она изменилась так, словно прошло по меньшей мере лет десять. Я знала, что моей матери не больше тридцати пяти, но выглядела она изможденней, чем любая крестьянка того же возраста. Солнце светило вовсю, заливая двор слепящим светом, и от этого ее худоба казалась еще более ужасной. Мать и в тот раз выглядела осунувшейся и слегка покашливала, но теперь уже не было сомнения, что она больна: ввалившиеся щеки, выпирающие ключицы и лопатки, острые локти, впалая грудь и, как в насмешку, – яркий болезненный румянец, пятнами вспыхивающий на щеках. Его никак нельзя было списать на жару. Смуглая кожа приобрела желтоватый, как у еврейки, оттенок. Мать посмотрела на нас невесело и равнодушно. Казалось, ничто на свете не может ее взволновать.

И тогда мы поняли – и по ее лицу, и по взгляду, – что она приехала сюда умирать. Мысль эта не вызвала у нас никаких чувств, кроме скрытого и тупого недовольства. Смерть слишком часто заглядывала в наш дом и он стал для нас отвратителен... Мы исподлобья разглядывали мать, чувствуя, что она нам не нужна, и если мы и хотели получить откуда-то помощь, то уж во всяком случае не из этих рук.

Мы ни о чем ее не расспрашивали, а она ничего не говорила о своих намерениях. Догадаться, что у нее туго с деньгами, было нетрудно. Все поклонники и ухажеры как в воду канули, да мать и не искала их. Она была так больна, что даже разговаривала мало. Голос у нее был хриплый.

Мы прожили лето на сбережения матери. Она совсем не работала, даже вещей в доме касалась с непонятной брезгливостью. Ей не нравился запах навоза и сена, ее раздражало мычание коров, которых пастух гнал мимо нашего дома на пастбище. Впрочем, она и нас не заставляла работать, и службу в трагтории я бросила. Каждое утро мать давала Розарио несколько монет, он шел и покупал все продукты, какие только нужно было. Так что мы не бедствовали. Но мать все чаще пересчитывала деньги в своем вышитом кошельке и качала головой, а потом, задумавшись, небрежно махала рукой. Она не думала о нас. Возможно, она знала, что умрет, а денег в кошельке хватит до ее смерти.

Она ни с кем ни виделась и никуда не выходила, равнодушно относясь к попыткам некоторых соседей кричать нам через калитку что-то оскорбительное. Слабая безучастная усмешка трогала ее губы. Пока было лето и солнце не скупилось на тепло, она любила целыми днями сидеть под старой кантиной, щурясь и подставляя лучам свое измученное худое лицо. На нас она не обращала никакого внимания и заботилась лишь о том, чтоб мы были сыты. Зато к собственному внешнему виду она относилась очень тщательно: гладила несколько своих платьев, крахмалила кружева, на ночь натиралась какой-то белой смесью и ни за что не хотела быть похожей на крестьянку. За это ее в насмешку стали называть синьорой.

Возможно, она надеялась, что еще сможет вернуться в цветущий, великолепный город Флоренцию, в тот шикарный ослепительный мир, где она по воле судьбы столько лет была королевой и где все вертелось в бешеном, веселом, зажигательном танце, веселье, музыке и откуда судьба изгнала ее неожиданно и безжалостно.

– Деревня пойдет мне на пользу, – сказала она как-то, – о, здесь я вылечусь...

Действительно, к концу лета ей стало как будто легче. Она повеселела. Мы тоже заметили, что она меньше и легче кашляет, и на платках, которые она прижимает к губам, стало

меньше пятен крови. Я знала, что мать больна чахоткой, а эту болезнь считали в нашей деревне страшной и неизлечимой. Но тут дело словно бы шло на поправку. Мать стала разговорчивей, поговаривала, что продаст и нашу мебель, и всю усадьбу и увезет нас во Флоренцию.

– Ты не представляешь, что это за город, Ритта! Это мечта, это сказка, это самое прекрасное в мире... Здесь, в этих домах, я задыхаюсь. А там и палаццо Веккьо, палаццо Питти, построенный самим Брунеллески, – я не знаю, кто это, но мне говорили, что это был большой человек... Тебе надо жить там, Ритта. Как хорошо, что у меня осталась ты! С тобой я не пропаду. Ведь всего шесть лет – и ты станешь взрослая...

Она устало закрывала глаза и хрипло дышала, успокаиваясь и будто засыпая. Бледные губы ее улыбались во сне. Может, ей снилась былая роскошь, россыпи драгоценностей, кучи платьев, богатство и любовь знаменитых мужчин? Может, она во сне видела себя прежней Джульеттой Риджи? Увы, от блеска Звезды Флоренции не осталось и следа...

Она никуда не смогла уехать. Как только полили первые осенние дожди, а вечера стали свежи и прохладны, с матерью случился новый приступ кашля. Она харкала кровью и горела в лихорадке. В груди у нее что-то хрипело. Поднялся сильный жар, и мать слегла.

Кусты бересклета у нашего двора украсились плодами-подвесками – яркими серьгами, свешивающимися на длинных ниточках, а потом и багряной листвой: казалось, что кусты объята пламенем. Зачернела ягодами-бусинами крушина. Затем тихо полетели по ветру листья, и заволновалось море. Небо затянулось тучами, посерело; склоны гор и утесов засверкали червонным золотом. Приближался ноябрь.

Приступы чахотки следовали один за другим, становясь все тяжелее, и мать таяла, как свеча. Стоило дождевым каплям сорваться на землю, и она уже не вставала с постели. Кровохарканье усиливалось, кровь часто шла горлом и носом, а удушающий кашель был так надрывен, что мог задушить больную. Когда наступало облегчение, мать сидела у окна, кутаясь в теплый платок.

Ночами меня часто будил странный шум. Я открывала глаза и вглядывалась в темноту. Мать, поднося зажженную свечу к лицу, пристально и жадно рассматривала себя в зеркале. Тусклый огонек выхватывал из мрака впалые щеки, лихорадочно горящие глаза, бледные искушенные губы, заострившиеся скулы и мерцающими дрожащими бликами ложился на это исхудалое, изможденное, отмеченное уже печатью смерти лицо... Жуткий стон нарушал тишину. Мать хваталась за голову, от тоски рвала на себе волосы, раскачивалась в разные стороны, как безумная, но при этом не плакала и не причитала. Потом свеча гасла, но мне казалось, что я вижу в темноте горящие глаза матери.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.